





Евгений ЗАМЯТИН



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
3-26

Серия основана в 2007 году

Замятин Е. И.

3-26 Полное собрание сочинений в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1258 с.: ил. — (Полное собрание сочинений в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0897-9

В полное собрание сочинений замечательного русского писателя, блистательного мастера слова, «гроссмейстера литературы», участника знаменитого литературного объединения петроградских писателей «Серрапионовы братья», талантливого инженера-кораблестроителя Евгения Ивановича Замятина (1884 — 1937) вошли все его повести, рассказы, сказки, былины, драматические произведения, киносценарии и роман «Мы».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-9922-0897-9

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

АВТОБИОГРАФИЯ

Как дыры, прорезанные в темной, плотно задернутой занавеси — несколько отдельных секунд из очень раннего детства.

Столовая, накрытый клеенкой стол, и на столе блюдо с чем-то странным, белым, сверкающим, и — чудо! — это белое вдруг исчезает на глазах неизвестно куда. В блюде — кусок еще незнакомой, некомнатной, внешней вселенной: в блюде принесли показать мне снег, и этот удивительный снег — до сих пор.

В этой же столовой. Кто-то держит меня на руках перед окном, за окном — сквозь деревья красный шар солнца, все темнеет, я чувствую: конец, — и страшнее всего, что откуда-то еще не вернулась мать. Потом я узнал, что «кто-то» моя бабушка, и что в эту секунду я был на волос от смерти: мне было года полтора.

Позже: мне года два-три. Первый раз — люди, множество, толпа. Это — в Задонске: отец и мать поехали туда на шарабанах и взяли меня с собой. Церковь, голубой дым, пение, огни, по-собачьи лает кликуша, комок в горле. Вот кончилось, прут, меня — щепочку — несет с толпой наружу, вот я уже один в толпе: отца с матерью нет, и их больше никогда не будет, я навсегда один. Сажу на какой-то могиле; солнце, горько плачу. Целый час я жил в мире один.

В Воронеже. Река, необычно странный мне ящик купальни, и в ящике (я потом вспомнил это, когда видел в бассейнах белых медведей) плещется огромное, розовое, тучное, выпуклое женское тело — тетка моей матери. Мне любопытно и чуть жутковато: я в первый раз понимаю, что это женщина.

Я жду у окна, гляжу на пустую, с купающимися в пыли курами, улицу. И наконец едет наш тарантас: везут из гимназии отца; он — на нелепо высоком сиденье, с тростью поставленной между колен. Я жду с замиранием сердца обеда — за обедом торжественно разворачивают газету и читаю вслух огромные буквы: «Сын Отечества». Я уже знаю эту таинственную вещь — буквы. Мне года четыре.

Лето. Пахнет лекарствами. Вдруг мать и тетки торопливо захлопывают окна, запирают балкон, и я смотрю, приплюснувшись носом к балконному стеклу: в е з у т! Кучер в белом халате, телега, покрытая белым полотном, под полотном — люди, скорченные, шевелящиеся руки и ноги: х о л е р н ы е. Холерный барак на нашей улице, рядом с

нашим домом. Сердце колотится, я знаю, что такое смерть. Мне лет пять-шесть.

И наконец: легкое, стеклянное, августовское утро, далекий прозрачный звон в монастыре. Я иду мимо палисадника перед нашим домом и не глядя знаю: окно открыто, и на меня смотрят — мать, бабушка, сестра. Потому что я в первый раз облачился в длинные — «на улицу» — брюки, в форменную гимназическую куртку, за спиную ранец: я в первый раз иду в гимназию. Навстречу трясется на своей бочке водовоз Измашка и несколько раз оглядывается на меня. Я — горд. Я — большой: мне перевалило за восемь.

Все это — среди тамбовских полей, в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком Лебеядни — той самой, о какой писали Толстой и Тургенев. А годы: 1884—1893.

Дальше — серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером — чудесный красный флаг. Красный флаг вывешивался на пожарной каланче и символизировал тогда отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20°. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной, разграфленной гимназической жизни.

Скептический диогеновский фонарь — в 12 лет. Фонарь был зажжен одним здоровым второклассником и — синий, лиловый, красный — горел у меня под левым глазом целых две недели. Я молился о чуде — о том, чтобы фонарь потух. Чудо не свершилось. Я задумался.

Много одиночества, много книг, очень рано — Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие свои щеки — от «Неточки Незвановой». Достоевский долго оставался — старший и страшный даже: другом был Гоголь (и гораздо позже — Анатолий Франс).

С 1896 года — гимназия в Воронеже. Специальность моя, о которой все знали: «сочинения» по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты над собой — чтобы «закалить» себя.

Помню: классе в 7-м, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются признаки бешенства — две недели. И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? — чтобы испытать судьбу и себя. Все эти две недели — дневник (единственный в жизни). Через две недели — не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву — делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благополучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от любви — проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее.

Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году. Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде — и там осталась.

Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах — «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей almae matris, о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев». И инспектор — наставительно, в нос, на о: «Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути». Наставление не помогло.

Петербург начала 900-х годов — Петербург Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плеве, рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я — студент-политехник косовороточной категории.

В зимнее белое воскресенье на Невском — черно от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским — Думская каланча, с дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак — один удар, час дня — на проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски марсельезы, красных знамен, казаки, дворники, городовые... Первая (для меня) демонстрация — 1903 год. И чем ближе к девятисот пятому — кипенье все лихорадочней, сходки все шумнее.

Летом — практика на заводах, Россия, прибаутливые, веселые третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, босяки.

Лето 1905 года — особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями. Я — практикантом на пароходе «Россия», плавающем от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумный Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия — с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба.

А по возвращении в Одессу — эпопея бунта на «Потемкине». С машинистом «России» — смытый, затопленный, опьяненный толпой — бродил в порту весь день и всю ночь, среди выстрелов, пожаров, погромов.

В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовки, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-ое октября, митинги в высших учебных заведениях...

Однажды в декабре вечером в мою комнату на Ломанском переулке пришел приятель, рабочий, крылоухий Николай В. — с бумаж-

ным мешком от филипповских булок, в мешке — пироксилин. «Оставлю-ка я тебе мешочек, а то за мной по пятам шпики ходят». — «Что ж, оставь». И сейчас еще вижу этот мешок: слева, на подоконнике, рядом с кулечком сахара и колбасой.

На другой день — в «штабе» Выборгского района, в тот самый момент, когда на столе были разложены планы, парабеллумы, маузеры, велодоги — полиция: в мышеловке человек тридцать. А в моей комнате слева, на подоконнике — мешок от филипповских булок, под кроватью — листки.

Когда обысканные и избитые мы разделены были по группам, я вместе с другими четверьмя — оказался у окна. У фонаря под окном увидел знакомые лица, улучил момент и в форточку выбросил записочку, чтобы у этих четырех и у меня убрали из комнат все неподобающее. Это было сделано. Но о том я узнал позже, а пока — несколько месяцев в одиночке на Шпалерной мне снился мешочек от филипповских булок — налево, на подоконнике.

В одиночке — был влюблен, изучал стенографию, английский язык и писал стихи (это неизбежно). Весною девятьсот шестого года освободили и выслали на родину.

Лебедянскую тишину, колокола, палисадники — выдержал недолго: уже летом — без прописки в Петербурге, потом в Гельсингфорсе. Комната на Эрдхольмсгатан, под окнами — море, скалы. По вечерам, когда чуть видны лица — митинги на сером граните. Ночью — не видно лиц, теплый черный камень кажется мягким, — оттого что рядом о на, и легкие, нежны лучи свеаборгских прожекторов.

Однажды в купальне голый товарищ знакомит с голым пузатеньким человечком: пузатенький человечек оказывается знаменитым капитаном красной гвардии — Коком. Еще несколько дней — и красная гвардия под ружьем, на горизонте чуть видные черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде двенадцатидюймовок, слабеющее буханье свеаборгских орудий. И я — переодетый, выбритый, в каком-то пенсне — возвращаюсь в Петербург.

Парламент в государстве; маленькие государства в государстве — высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом — одно время председателем — Совета старост.

Повестка: явиться в участок. В участке — зеленый листок: о розыске «студента университета Евгения Иванова Замятина», на предмет высылки из Петербурга. Честно заявляю, что в университете никогда не был и что в листке — очевидно ошибка. Помню нос у пристава — крючком, знаком вопроса: «Гм... Придется навести справки». Тем временем я переселяюсь в другой район: там через полгода — снова повестка, зеленый листок, «студент университета», знак вопроса и справки. Так — пять лет, до 1911 года, когда, наконец, ошибка в зеленом листке была исправлена и меня выдворили из Петербурга.

В 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был оставлен при кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года — преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта башенно-палубного судна — на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристикой ведал Арцыбашев. Осенью 1908 года рассказ в «Образовании» был напечатан. Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ, мне так же неловко, как при встречах с одной моей тетушкой, у которой я, двухлетний, однажды публично промочил платье.

Три следующих года, — корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское Судоходство», «Известия Политехнического Института». Много связанных с работой поездок по России: Волга вплоть до Царицына, Астрахани, Кама, Донецкий район, Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым.

В эти же годы, среди чертежей и цифр — несколько рассказов. В печать их не отдавал: в каждом мне еще чувствовалось какое-то «не то». «То» нашлось в 1911 году. В этом году были удивительные белые ночи, было много очень белого и очень темного. И в этом году — высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались. Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом, зимою — в Лахте. Здесь — в снегу, одиночестве, тишине — «Уездное». После «Уездного» — сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником.

В 1913 году (трехсотлетие Романовых) — получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть «На куличках». По напечатании ее в «Заветах» — книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до февральской революции: оправдали.

Зима 1915—16 года — опять какая-то метельная, буйная — кончается дуэльным вызовом в январе, а в марте — отъездом в Англию.

До этого на Западе был только в Германии. Берлин показался конденсированным, 80%-ным Петербургом. В Англии другое: в Англии все было так же ново и странно, как когда-то в Александрии, в Иерусалиме.

Здесь — сперва железо, машины, чертежи: строил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе (между прочим один из наших самых крупных ледоколов — «Ленин»). Немцы сыпали сверху бомбы с цепелинов и аэропланов. Я писал «Островитян».

Когда в газетах запестрели жирные буквы: «Revolution in Russia», «Abdication of Russian Tzar» — в Англии стало невмочь, и в сентябре 1917 года, на стареньком английском пароходишке (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов

пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки наготове.

Веселая, жуткая зима 17–18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже — бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом — всечские всемирные затеи: издать всех классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей — практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена (1920–1921), курс техники художественной прозы в Студии Дома искусств, работа в Редакционной коллегии «Всемирной Литературы», в Правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов, в Совете Дома искусств, в Секции Исторических картин ПТО, в издательстве Гржебина, «Алконост», «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом Искусств», «Современный Запад», «Русский Современник». Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей — роман «Мы», в 1925 году вышедший по-английски, потом — в переводе на другие языки; по-русски этот роман еще не печатался.

В 1925 году — измена литературе: театр, пьесы «Блоха» и «Общество Почетных Звонарей». «Блоха» была показана в первый раз в МХАТе 2-м в феврале 1925 года, «Общество Почетных Звонарей» — в б. Михайловском театре в Ленинграде в ноябре 1925 года. Новая пьеса — трагедия «Атилла» — закончена в 1928 году. В Атилле» — дошел до стихов. Дальше идти некуда, возвращаюсь к роману, к рассказам.

Думаю, что если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией — больше не мог бы писать. Видел много: в Петербурге, в Москве, в захолустье — Тамбовском, в деревне — Вологодской, Псковской, в теплушках.

Так замкнулся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей жизни дальше.

МЫ
РОМАН

Запись 1-ая.

Конспект:

ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА.

Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взойдется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически-безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия — мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем номерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения, о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют номера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это — и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной — асимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель «И н т е г р а л а», — я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет

производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет — верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового — еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно — не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, — или почти каждый из нас. Я готов.

Запись 2-ая.

Конспект:

БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС.

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов, От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно проводишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо-толкущиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим — только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни — весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубину вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их урвнения — видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится «И н т е г р а л» — и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше — сам с собою: почему — красиво? Почему танец — красив? Ответ: потому что это не с в о б о д н о е движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни — только сознательно...

Кончить придется после: шелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! — мне всегда это казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое О — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястьи руки — такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще всю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

— Чудесно. Не правда ли? — спросил я.

— Да, чудесно. Весна, — розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна... Она — о весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час — мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых унифах¹, с золотыми бляхами на груди — государственный номер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, — он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа — два каких-то незнакомых номера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, неомраченные безумием мыслей лица... Лучи — понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью — вы поднимаетесь все выше, в головокругительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, — увидел все: непреложные прямые улицы, брызжащее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение — прыжок через века, с + на — . Мне вспомнилась (очевидно — ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, ог-

¹ Вероятно, от древнего «Uniforme».

лушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

— Простите, — сказала она, — но вы так вдохновенно все озирали — как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это — без улыбки, я бы даже сказал — с некоторой почтительностью (может быть ей известно, что я — строитель «И н т е г р а л а»). Но не знаю — в глазах или бровях — какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

— Но почему же — непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть — можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги — ведь это тоже было — и следовательно...

— Ну да: ясно! — крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она — почти моими же словами — то, что я записывал перед прогулкой). — Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

— Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови — как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево — и...

Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее номер) ; налево — О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки — неизвестный мне мужской номер — какой-то дважды изогнутый, вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд — и со вздохом:

— Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я — с необычайной для меня резкостью — сказал:

— Ничего не увы. Наука растет, и ясно — если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

— Даже носы у всех...

— Да, носы, — я уже почти кричал. — Раз есть — все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

— Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и — по возможности посторонним голосом — сказал:

— Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

— Да это прелюбопытный аккорд — она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

— Он записан на меня, — радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала — это было совершенно ни к чему. Вообще, эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем, S-образным мужским номером. У него такое — внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его — сей-час не вспомню.

На прощание I — все так же иксово — усмехнулась мне.

— Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

— Если у меня будет наряд — именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

— Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в урвнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне — налево.

— Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... — робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день — послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» — как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен: три раза поцеловал чувственные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

Запись 3-я.

Конспект:

ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ.

Просмотрел все написанное вчера — и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть, все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может вы, неведомые, кому «И н т е р а л» принесет мои

записки, может быть вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно — и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей — разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну, к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм к все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой — первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить, что у вас — хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице — голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод, — но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписа-

ния». Но Часовая Скрижаль — каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту — мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час, единомиллионно, начинаем работу — единомиллионно кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду — мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне открытен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью — Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних — целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням Марша — проходят проспектом, третьи — как я сейчас — за письменным столом. Но я твердо верю — пусть назовут меня идеалистом и фантазером — я верю: раньше или позже — но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т.е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя — пусть даже зачаточная, государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством — только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, т.е. уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, — это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет — это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний номер; у них не могли — все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т.е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это — разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что

они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т.е. зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время — откуда-то со дна, из мохнатых глубин, — еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью — только изредка. К счастью — это только мелкие аварии деталей: их легко отремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, — у нас есть искусная, тяжелая рука Благотетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S, — кажется, мне случилось видеть его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

Запись 4-ая.

Конспект:

ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ. ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ.

До сих пор мне все в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня... Не понимаю.

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудитории 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была —

$$\frac{1500}{10\,000\,000} = \frac{3}{20\,000}$$

(1500 — это число аудиториумов, 10 000 000 — ну-

меров). А второе... Впрочем, лучше по порядку. Аудиториум. Огромный, насквозь просолнечный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп —

милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похоже... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне — желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот — звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства — и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолектор.

— «Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу 20-го века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на «дожде» — действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на «дождь» (на экране — дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как дикарь, европеец хотел «дождя» — дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря, по крайней мере, было больше смелости и энергии и — пусть дикой — логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому...»

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) — тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось — все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолектор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик — причина, музыка — следствие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.

— «...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков «вдохновения» — неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, — музыка Скрябина — 20-й век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там — их древнейший инструмент) — этот ящик они называли «рояльным» или «королевским», что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка...»

И дальше — я опять не помню, очень возможно потому, что... Ну, да скажу прямо: потому что к «рояльному» ящику подошла она — I-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы...

Улыбка — укус, сюда — вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное,

пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, — ни тени разумной механичности. И конечно они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я — я?

Да, эпилепсия — душевная болезнь — боль... Медленная, сладкая боль — укус — и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно — солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи — нет: дикое, несущееся, попадающее солнце — долой все с себя — все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево — на меня — и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел — на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я — снова я.

Как и все — я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху — вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце — для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов — и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся Фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты — спектральный анализ планет... Какое величие! Какая незабываемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем — кроме диких фантазий — не ограниченная музыка древних...

Как обычно, стройными рядами, по четыре, через широкие двери все выходили из аудитории. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома — скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас — только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканых из сверкающего воздуха, стен — мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе, мало ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic!) дом — моя крепость» — ведь нужно же было додуматься!

В 21 я опустил шторы — и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик — и розовый билетик. Я оторвал талон — и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента — 22.15.

Потом показал ей свои «записи» и говорил — кажется, очень хорошо — о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала — и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья — прямо

на раскрытую страницу (стр. 7-ая). Чернила расплылись. Ну вот, придется переписывать.

— Милый Д, если бы только вы — если бы...

Ну что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое — относительно... относительно той? Хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.

Запись 5-ая.

Конспект:

КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА. ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ.

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негроубый, — ну да все его знают. А между тем вы — на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии — кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе — квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете — квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит — настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это — равенство четырех углов, но для вас это, может быть, по-чуже, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром». Ergo: чтобы овладеть миром — человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне — о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой «хлеб»¹. Но в 35-ом году до основания Единого Государства — была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато — очищенное от тысячелетней грязи — каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых — вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть — это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался, потому что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш то-

¹ Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества — нам неизвестен.

гдашний разговор на прогулке) — потому что любви одних добивались многие, других — никто.

Естественно, что подчинив себе Голод (алгебраический = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира — против Любви. Наконец, и эта стихия была тоже побеждена, т.е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический «*Lex sexualis*»: всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой номер».

Ну, дальше — там уж техника. Вас тщательно исследуют в лаборатории Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови — и вырабатывают для вас соответственный Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться номером таким-то (или таким-то) и получаете надлежащую талонную книжку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти — нет уже никаких, знаменатель дробь счастья приведен к нулю — дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий, — у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

...Странно: я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, — а внутри как-то облачно, паутинно, и крестом — какой-то четырехпалый икс. Или это — мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами — мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них — и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно — —

Хотел зачеркнуть все это — потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи — как тончайший сейсмограф — дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником — —

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии — никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри — все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) — просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю — вы не будете слишком строго судить меня. Я верю — вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие — для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

Запись 6-ая.

Конспект:

СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ «ЯСНО». 24 ЧАСА.

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала — еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) — там, где уже ничего не случается, а у нас. Вот, не угодно ли: в Государственной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из номеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И кроме того — нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, т.е. в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же...

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг — телефон:

— Д-503? — женский голос.

— Да.

— Свободны?

— Да.

— Это я, I-330. Я сейчас залечу за вами и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

I-330... Эта I меня раздражает, отталкивает — почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неб — и легкое солнце — на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое — как щеки старинного «купидона» — и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы — поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна — там, за Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца — вниз, вниз, вниз — как с крутой горы — и мы у Древнего Дома.

Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери — старуха, вся сморщенная — и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос — и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же — заговорила.

— Ну что, милые, домик мой пришли поглядеть? — и морщины засияли (т.е., вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли»).

— Да, бабушка, опять захотелось, — сказала ей I.

Морщинки сияли:

ПОВЕСТИ

УЕЗДНОЕ

1. ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ

Отец бесперечь пилит: «Учись да учись, а то будешь, как я, сапоги тачать».

А как тут учиться, когда в журнале записан первым, и, стало быть, как только урок, сейчас же и тянут:

— Барыба Анфим. Пожалуйте-с.

И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает и без того низкий лоб на самые брови.

— Опять ни бельмеса? А-а-ах, а ведь малый-то ты на возрасте, замуж пора. Садись, брат.

Садился Барыба. И сидел основательно — года по два в классе. Так испрохвала, не горопясь, добрался Барыба и до последнего.

Было ему о ту пору годов пятнадцать, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошая озимь, усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд — глядеть, как бабы купаются. А ночью после — хоть и спать не ложись: такие полезут жаркие сны, такой хоровод заведут, что...

Встанет Барыба наутро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да пропадай оно пропадом!

Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал, неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый: зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей повьступят все углы чудного его лица.

Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный, четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад.

Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут уж потешались всласть.

— Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.

И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.

— Мало, — угрюмо бурчит Барыба, — булку.

— Вот, чёрт, едун! — но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками — знай-подкладывай! Потеха ребятам, диковина.

Забавы-забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть, даром что зеленый май на дворе.

Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экзамен — первый из выпускных. Вот, вечером как-то, отец отложил в сторону драгву и сапог, очки снял да и говорит:

— Ты это помни, Анфимка, заруби на носу. Коли и теперь не выдержишь — со двора сгоню.

Как будто чего уж лучше: три дня подготовки. Да на грех завязалась у ребят орлянка — ох, и завлекательная же игра! Два дня не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл: семь гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на третий день, слава-Те, Господи, все вернул и чистых еще выиграл больше полтинника.

Восемнадцатого, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни гу-гу уездники, ждут: ну, сейчас поплывет бедняга.

Вытянул Барыба — и уставился в белый листок билета. От белизны этой и от страха слегка затошнило. Ухнули куда-то все слова: ни одного.

На первых партах подсказчики зашептали:

— Тигр и Ефрат... Сад, в котором жили... Месопотамия. Ме-со-по-та... Чёрт глухой!

Барыба заговорил — одно за другим стал откалывать, как камни, слова — тяжкие, редкие.

— Адам и Ева. Между Тигром и... этим Ефратом. Рай был огромный сад. В котором водились месопотамы. И другие животные...

Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыба приободрился.

— Это кто же-с месопотамы-то? А, Анфим? Объясни-ка нам, Анфимушка.

— Месопотамы... Это такие. Допотопные звери. Очень хищные. И вот в раю они. Жили рядом...

Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой, ребята полегли на парты.

Домой Барыба не пошел. Уж знал — отец человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает. Разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.

2. С СОБАКАМИ

Жили-были Балкашины, купцы почтенные, на заводе своем со-лод варили-варили, да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко где й-то в большом городе живут наследники ихние, да вот все не едут. Так и горюет-пустует выморочный дом. По-

хилилась деревянная башня, накрест досками заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лезут за добычей бродячие собаки.

Тут вот и поселился Барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли, из досок сколочены: чем не кровать? Благодать Барыбе теперь: учиться не надо, делай что тебе в голову взбредет, купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посадку броди, в монастырском лесу — дной и ночуй.

Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит?

Стал Барыба за поживой ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая исподлобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без устали молотящих языком баб: чуть которая-нибудь зазевалась матрена — ну, и готово, добыл себе Барыба обед.

Не вывезет на базаре — побежит Барыба в Стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком — рыщет по задам, загуменникам, огородам. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть — Боже избави: хозяйшкa вон она — вон, грядку полет, и ныряет в зелени красный платок. Наберет Барыба картошки, моркови, испечет дома — на балкашинском дворе, ест, обжигаясь, без соли — вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно: быть бы живу.

Не задастся, не повезет иной день — сидит Барыба голодный и волчьими, завистливыми глазами глядит на собак: хрустят костью, весело играют костью. Глядит Барыба...

Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе! Зачиврел, зачерствел Барыба, оброс, почернел; от худобы еще жестче углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелей, четырехугольней стало лицо.

Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы чего-нибудь: чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать.

Бывали дни — целый день Барыба лежал в закуте своей, ничком на соломе. Бывали дни — целый день Барыба метался по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь.

На соседнем, чеботаревском дворе — с утра народ: кожемяки в кожаных фартуках, возчики с подводами кож. Увидят — чей-то глаз вертится в заборной дыре, ширнут кнутовищем:

— Эй, кто там?

— Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?

Барыба — прыжками волчиными — в закуту к себе, в солому, и

лежит. Ух, попадись ему возчики эти самые: уж он бы им — уж он бы их...

С полудня на чеботаревском дворе — ножами на кухне стучат, убоиной жареной пахнет. Инда весь затрясется Барыба у щелки своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обедать там не кончат.

Кончат обедать — как будто и ему полегче станет. Кончат, и вы-ползает на двор Чеботариха сама: красная, наседалась, от перекура ходить не может.

— У-ух... — железом по железу — заскрипит зубами Барыба.

По праздникам над балкашинским двором, на верху переулочка, звонила Покровская церковь — и от звона было еще лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванивает...

«Да ведь вот же куда — в монастырь, к Евсею!» — осенило звоном Барыбу.

Малым мальчишкой еще, после порки бегивал Барыба к Евсею. И всегда, бывало, чаем напоит Евсей, с кренделями с монастырскими. Поит — а сам приговаривает, так что-нибудь, абы бы утешить:

— Эх, малый! Меня намедни игумен за святые власы схватил, я и то... Эх, мал... А ты ревешь?

Веселый прибежал в монастырь Барыба: ушел теперь от собак балкашинских.

— Отец Евсей дома?

Послушник прикрыл рот рукой, загоготал:

— Во-она! Его и с гончими не разыщешь: запил, всю неделю в Стрельцах кутит отец Евсей.

Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашинский двор...

3. ЦЫПЛЯТА

После всенощной либо после обедни догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет:

— Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж делать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет.

А Чеботариха на линейке своей расползется, как тесто, и, губы поджавши, скажет:

— Никак ни можно, батюшка, бизпридстанно биение сердца.

И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку — одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так, на своих ногах без колес — никто Чеботариху на улице и не видел. Уж чего ближе — до бани ихней чеботаревской (завод кожевенный и баню торговую муж ей оставил), так и то на линейке ездил, по пятницам — в бабий день.

И потому линейка эта самая, и мерин половопегий, и кучер Урванка — у Чеботарихи в большом почете. А уж особо Урванка: кучерявый, силища, чёрт, и черный весь — цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей

веревки. Поговаривали, что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись: попадись-ка к нему, к Урванке — влупцует, брат, так, что... Человека до полусмерти избить — Урванке первое удовольствие: потому — самого очень бивали, в конокрадах был.

А вот была-таки и любовь у Урванки: лошадей он любил и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то и разговаривать с ними возьмется на каковском-то языке. Может, и правда — нехристь был?

А кур любил Урванка за то, что весною были они цыплятами — желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало, за ними по всему по двору: ути-ути-ути! Под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках — а уж изловит, на руку посадит и — первое ему удовольствие — духом цыпленка греть. И так, чтобы рожи его о ту пору никто не видал. Бог его знает, какая она бывала. Так, не поглядевши, и не представить: Урванка этот самый — и цыпленок. Чудно!

Вышло так на горе Барыбино, что и он цыплят Урванкиных полюбил: вкусны очень, повадился их таскать. Другого, третьего нет — приметил Урванка. А куда запропастились цыплята — и ума не приложит. Хорек разве завелся?

После полдён лежит как-то Урванка под сараем в телеге. Жарынь, в дрему клонит. Цыплята — и то под сарай запрятались, в тень у стеночки присели, глаза отонком закрыли, носом клюют.

И не видят, бедняги, что доска сзади отодрана и тянется через дыру, тянется к ним рука. Цоп — и заверещал, затекал цыпленок в Барыбином кулаке.

Вскочил, заорал Урванка. Мигом перемахнулся через забор.

— Держи, держи его, держи вора!

Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыба в свои ясли, залез под солому, но Урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги.

— Ну, погоди же ты у меня! Я тебе — за цыплят за моих...

И поволок за шиворот — к Чеботарихе: пусть уж она казнь вору придумает.

4. СМИЛОСТИВИЛСЯ

Кухарку — Анисью толстомордую прогнала Чеботариха. За что? А за то самое, чтобы к Урванке не подкатывалась. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду кухарок. Пришлось взять Польшу — так, девчонку ледащую.

И вот в Покровской церкви к вечерне вызванивали. Польша эта самая в зальце пол мела, посыпав спитым чаем, как Чеботариха учила. А Чеботариха сама тут же сидела в крытом кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку: в мухоловке — квас, а в квасу утопились со скуки мухи. Чеботариха зевала, крестила рот. «Ох, Господи-батюшка, помилуй...»

И смилоствивился: какой-то топот и гвалт в сенях — и Урванка впихнул Барыбу. Так оторопел Барыба — увидел Чеботариху самое, — что и вырываться перестал, только глаза, как мыши, метались по всем углам.

Про цыпляточек Чеботариха услышала — раскипелась, слюнями забрызгала.

— На цыпляточек, на андельчиков Божьих, руку поднял? Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси. Неси, неси, и знать ничего не хочу!

Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой — и мигом на полу Барыба. Закусался было, змеем завился — да куда уж ему против Урванки-чёрта: разложил, оседлал, штаны дырявые мигом содрал с Барыбы и ждал только слова Чеботарихина — расправу начать.

А Чеботариха — от смеху слова-то не могла сказать, такая смехота напала. Насилу уж раскрыла глаза: что-й-то они там на полу затихли?

Раскрыла — и оступился смех, ближе нагнулась к напряженному, зверино-крепкому телу Барыбы.

— Уйди-ко-сь, Урван. Слезь, говорю, слезы! Дай поспрошать его толком... — на Урванку Чеботариха не глядела, отвела глаза в угол.

Медленно слез Урванка, на пороге — обернулся, со всех сил хлопнул дверью.

Барыба вскочил, метнулся скорей за штанами: батюшки, от штанов-то одни лохмоты! Ну, бежать без оглядки...

Но Чеботариха крепко держала за руку:

— Вы чьих же это, мальчик, будете?

Еще оттопыривала нижнюю губу, вместо «мальчик» сказала «мьльчик», еще напускала важность, но уж что-то другое учуял Барыба.

— Са-апожников я... — и сразу вспомнил всю свою жизнь, заскулил, завыл. — За экзамен меня отец прогнал, я жи-ил... на бал... на балкаши-и...

Всплеснула Чеботариха руками, запела сладко-жалобно:

— Ах, сиротинушка ты моя, ах, несчастная! Из дому — сына родного, а? Тоже, отец называется...

Пела — и за руку волокла куда-то Барыбу, и тоскливо-покорно Барыба шел.

— ...И добру-то поучить тебя некому. А враг-то — вот он: украдь да украдь цыпленочка — верно?

Спальня. Огромная, с горюю перин, кровать. Лампадка. Поблескивают ризы у икон.

На какой-то коврик пихнула Барыбу:

— На коленки, на коленки-то стань. Помолись, Анфимушка, помолись. Господь милосливый, он простит. И я прошу...

И сама где-то осела сзади, яростно зашептала молитву. Обалдел, не шевелясь, стоял на коленях Барыба. «Встать бы, уйти. Встать...»

— Да ты что ж это, а? Как тебя креститься-то учили? — схватила

Чеботариха Барыбину руку. — Ну, вот так вот: на лоб, на живот... — облапила сзади, дышала в шею.

Вдруг, неожиданно для себя, обернулся Барыба и, стиснув челюсти, запустил руки в мягкое что-то, как тесто.

— Ах ты етакой, а? Да ты что ж это, вон что, а? Ну, так уж и быть, для тебя согрешу, для сиротинки.

Потонул Барыба в сладком и жарком тесте.

На ночь Польша ему постелила войлок на рундуке в передней. Пототал головой Барыба: ну и чудеса на свете. Уснул сытый, довольный.

5. ЖИСТЬ

Да, тут уж не то что на балкашинском дворе, жизнь. На всем на говяжьим, в спокойе, на мягких перинах, в жарко натопленных старновковой комнатах. Весь день бродить в сладком безделье. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх, жисть!

Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до вечера, жисть в еде класть. Так уж у Чеботарихи заведено.

Утром — чай, с молоком топленным, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой (не очень уж, впрочем), голова косынкой покрыта.

— И что это в косынке вы всё? — скажет Барыба.

— То-то тебя учили-то! Да нешто можно женщине простоволосой ходить? Чай, я не девка, ведь грех. Чай, венцом покрытая с мужем жила. Это непокрытые которые живут, непутевые...

А то другой какой разговор заведут пользительный для еды: о снах, о соннике, о Мартыне Задеке, о приметах да о присухах разных.

Туда-сюда — ан, глядь, уже двенадцатый час. Полудновать пора. Студень, щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, требуха с хреном, моченые арбузы да яблоки, да и мало ли там еще что.

В полдень — ни спать, ни купаться на реке нельзя: бес-то полуденный вот он — как раз и прихватит. А спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет.

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню, к Польшке: дура — дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца Польшкина, и давая его в сапог сажать. Визг, содом на кухне. Польша, как угорелая, мыкается кругом.

— Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Васеньку. Христа ради!

Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Польша умоляет уж Васеньку:

— Васенька, ну, не плачь, ну, потерпи, ребеночек, потерпи! Сейчас, сейчас отпустит.

Истошным голосом кричит кот. У Польки — глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рукав Барыбу слабой своей рукой.

— Уйд-ди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!

Запустит в угол Барыба сапог вместе с котом и доволен — грохочет-громыкает по ухабам телегой.

Ужинали рано, в девятом часу. Принесет Полька еду — и отсылает ее Чеботариха спать, чтоб глаза не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик.

— Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку.

Молча пьют. Тоненько пищит и коптит лампа. Долго никто не видит.

«Коптит. Сказать бы?» — думает Барыба.

Но не повернуть тонушие мысли, не выговорить.

Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнущим светом лампы — в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И виден, и кричит только один жадный рот — красная мокрая дыра. Все лицо — один рот. И все ближе к Барыбе запах ее потного, липкого тела.

Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой. Смрад.

А в спальне — лампадка, мельканье фольговых риз. Раскрыта кровать, и на коврикe возле бьет Чеботариха поклоны.

И знает Барыба: чем больше поклонов, чем ярее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью.

«Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом...»

Но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой.

Нелегкая, что и говорить, у Барыбы служба. Да зато уж Чеботариха в нем все больше, день ото дня, души не чает. Такую он силу забрал, что только у Чеботарихи теперь и думы, чем бы это еще такое Анфимушку ублажить.

— Анфимушка, еще тарелочку скушай...

— Ох, и что-й-то стыд во дворе ноне! Анфимушка, дай-ка я тебе шарфик подвяжу, а?

— Анфимушка, ай опять живот болит? Вот грехи-то! На-ко-ся, вот водка с горчицей да с солью, выпей — первое средство.

Сапоги-бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые резиновые — и ходит Барыба рындиком этаким по чеботаревскому двору, распорядки наводит.

— Эй, ты, гамай, гужеед, где кожи вывалил? Тебе куда ведено?

Глядишь — и оштрафовал на семитку, и мнет уж мужик дырявую свою шапчонку, и кланяется.

Одного только за версту и обходит Барыба — Урванку. А то ведь и на Чеботариху самое взъестся подчас. Терпит, терпит, а иной раз такая посчастливится ночь... Наутро мутное все, сбежал бы на край света. Запрется Барыба в зальце, и мыкается, и мыкается, как в клетке.

Осядет Чеботариха, притихнет. Зовет Польку:

— Полюшка, поди — погляди, как он там? А то обедать зови.

Бежит, хихикая, Полька обратно:

— Нейдеть. Зёл, зёл, и-и, так поперек полу и ходить!

И ждет Чеботариха с обедом час, два.

А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает — уж это значит...

6. В ЧУРИЛОВСКОМ ТРАКТИРЕ

Раздобрел Барыба на приказчицком положении да на хороших хлебах.

Встретил его на Дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец — так прямо руками развел:

— И не узнать. Ишь купцом каким!

Завидовал Барыбе Чернобыльников: хорошо парню живется. Уж как-никак, а должен, видно, Барыба спрыснуть, угостить друзей в трактире: что ему, богатею, стоит?

Уговорил, улестил малого.

К семи часам, как уговор был, пришел Барыба в чуриловский трактир. Ну, и место же веселое, о Господи! Шум, гам, огни. Половые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спицами в колесе.

Голова кругом пошла у Барыбы, опешил, и никак Чернобыльникова не разыскать.

А Чернобыльников уже кричит издали:

— Э-эй, купец, сюда!

Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человечек. Маленький, востроносый, сидит — и не на стуле будто сидит, а так на жердочке прыгает, вроде — воробей.

Чернобыльников кивнул на воробья:

— Тимоша это, портной. Разговорчивый.

Улыбнулся Тимоша — зажег теплую лампадку на остром своем лице:

— Портной, да. Мозги перешиваю.

Барыба разинул рот, хотел спросить, да сзади толкнули в плечо. Половой, с подносом на отлете, у самой головы, уж ставил пиво на стол. Галдели, путались голоса, и надо всеми стоял один, — рыжий мещанин, маклак лошадный, орал:

— Митька, эй, Митька, скугаревая башка, да принесешь ты ай нет?

И запевал опять:

По тебе, широка улица,
Последний раз иду...

Узнал Тимоша, что из уездного Барыба, обрадовался.

— Самый этот поп тебе, значит, и подложил свинью? Ну, как же, зна-аю его, знаю. Шивал ему. Да не любит он меня, страсть!

— За что же не любит-то?

— А за разговоры мои разные. Намедни говорю ему: «Как это, мол, святые-то наши на том свете, в раю будут? Тимофей-то милосливый, ангел мой и покровитель, увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблоко возьмется? Вот те и многомилосливый, вот те и святая душа! А не видеть меня, не знать — не может он, по катехизису должен». Ну, и заткнулся поп, не знал, что сказать.

— Ловко! — заржал Барыба, загромыхал, засмеялся.

— «Ты бы, — поп мне говорит, — лучше хорошие дела делал, чем языком-то так трепать». А я ему: «Зачем, говорю, мне хорошие дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних моих пользительней, потому, по Евангелию, за зло мое им Господь Бог на том свете сторицею добром воздаст...» Ах и ругался же поп!

— Так его, попа, так его, — ликовал Барыба. Полюбил бы вот сейчас Тимошу за это, за то, что попа так ловко отделал, — полюбил бы, да тяжел был Барыба, круто заквашен, не проворотить его было для любви.

За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак драбазнул по столу. Мещанин вопил:

— А ну, скажи? А ну, еще раз скажи? А ну-ка, а ну?

Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи: ох, любят у нас скандалы, медом их не корми!

Какой-то длиншошей верзила вывернулся из свалки, подошел к столику, здоровался с Чернобыльниковым. Под мышкой держал фуражку с кокардой.

— Удивительно... И уж сейчас все лезут, как бараны, — сказал он гусиным тонким голосом и выпятил презрительно губы.

Сел. На Тимошу с Барыбой — ноль внимания. Говорил с Чернобыльниковым: почтальон — все-таки вроде чиновник.

Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил Барыбе:

— Казначейский зять он. Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местишко ему устроил, в казначействе писцом — ну, он и пыжится.

Казначейский зять будто не слушал и еще громче говорил Чернобыльникову:

— И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю...

Чернобыльников почтительно протянул:

— К губе-е-рнскому?

Тимоше невтерпеж стало — влез в разговор.

— Почтальон, Чернобыльников, а помнишь, как его наемни исправник-то из дворянской... энтим самым местом выпихнул?

— Просил бы... Пок-корнейше просил бы! — сказал казначейский зять свирепо.

А Тимоша досказывал:

— «...Ан не пойдешь!» — «Ан пойду!» Ну, слово за слово, — об заклад. Влез он в дворянскую. А на бильярде-то как раз казначей с исправником играл. Наш франтик — к тестю: на ухо прошептал, будто за каким делом пришел. Да там и остался стоять. А исправник — начал кием нацеливаться, все пятился, пятился да невзначай будто так его и выпихнул, энтим самым местом. Ох, Господи, вот смеху-то было!

Надрывались со смеху Барыба с Чернобыльниковым.

Казначейский зять встал и ушел не глядя.

— Ну, еще помиримся, — сказал Тимоша. — И ничего ведь малый был. А теперь — на лбу кокарда, а во лбу — барда.

7. АПЕЛЬСИННОЕ ДЕРЕВО

У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно окошечко и есть, да и на том стекло зацвело, от старости заразноцветилось. А на окне у Польки — баночка.

Посадила — давно уж, с полгода будет — в баночку эту Полька апельсинное зерно. А теперь, гляди, уж и целое деревцо выросло: раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких, глянцевых.

Помыкается на кухне, погремит Полька горшками — да и опять подойдет к деревцу, листочки понюхает.

— Чудно. Было зерно, а вот...

Берегла-холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту — стала деревцо поливать супом, коли оставался от обеда.

Раз Барыба из трактира вернулся поздно, встал утром злючий-презлючий, чаю глотнул — и сейчас в кухню, душу отвести. Звала его теперь Полька не иначе как барином: очень лестно.

Полька как раз у окна своего возилась, около деревца любезного.

— Где кот?

Полька, не обертываясь, копошилась. Робяя, отвечала:

— Они, барин, ушли. Да где-нибудь на дворе, наверно, где ж еще?

— Ты что это там стряпаешь?

Притихла, сробела, молчала. Блюдце с супом в руке.

— Су-упом? Траву поливаешь? Для этого тебе суп даден, дуреха ты этакая? Сейчас подай сюда!

— Ды-к это пельсин, барин...

Полька затрепыхалась от страха: ох, и что теперь будет?

— Я те покажу пельсин! Супом поливать, дура, а?

Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревела. Да что

тут долго с ней, душой, возжаться? Выхватил с корнем деревцо да за окно, а баночку поставил на место. Очень даже просто.

Полька ревела в голос, грязные полосы наследились от слез на лице, причитала по-бабьи:

— Пельсин мой, ды-ы батюшка, да как же я без тебя буду-у...

Барыба весело поддал ей сзади пару, и она выкатилась из двери, по двору — да прямо в погреб.

Разгрыз какой-то камень, вот тут, с Полькой, с апельсином этим — и полегчало сразу. Скалил зубы Барыба, пьянел.

Увидал в окно, как Полька спустилась в погреб. Повернулся в голове медленно какой-то жернов — и заколотилось вдруг сердце.

Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб. Плотно закрыл за собой дверь.

После солнца — да в темь: совсем ослеп. Шарил по сырým стенам, спотыкался:

— Полька, ты где? Ты там где, дура, зачихачилась?

Слышно, где-то хлопает Полька, хнычет, а где...

Затхло, могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам, свалил деревянный кружок с крынки какой-то.

Вот она, Полька: на куче картошек сидит, размазывая слезы. Крошечная какая-то дырочка вверху — пролез один хитрый, прищуренный лучик и отрезал кусок косы у Польки с тряпичной лентой, пальцы, грязную щеку.

— Будя, будя, не реви, засохни!

Барыба легонько налегнул на нее, и она повалилась. Послушно двигалась и была вся как тряпичная кукла. Только еще чаще захныкала.

Во рту пересохло, язык еле ворочался у Барыбы. Плел что-то — так, чтоб занять ей голову, отвлечь от того, что он делал:

— Да, ишь ты, штука какая, пельсин! А ты и реветь? Мы тебе, вместо пельсина, дай-ко-сь, ерань купим... Ерань — она... это самое... духовитая...

Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость Барыбе.

— Так, та-ак! Рevi теперь, ну, реви всюю, — приговаривал Барыба.

Польку выпроводил. Сам остался еще, растянулся на куче картошек, отдыхая.

Вдруг заулыбался Барыба до ушей, довольный. Сказал вслух Чеботарихе:

— Что, перина старая, съела, ага?

И показал в темноте кукиш.

Вышел из погреба, зажмурился: солнце. Поглядел под сарай: там копошился, спиной к нему, Урванка.

8. ТИМОША

Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался все к Барыбе.
— Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебя, должно быть, вот так.

— Бивали, как же, — засмеялся Барыба. Лестно даже было: бивали — а теперь вот поди-ка, сунься.

— То-то ты и вышел такой, чадушко. Души-то, совести у тебя — ровно у курицы...

И завел свое — о Боге: нет, мол, его, а все выходит, жить надо по-Божьи; и о вере, и о книгах. Непривычно было Барыбе так много молоть своим жерновом, томили Тимошины мудреные слова. Но слушал — тяжелой телегой тащился за Тимошей. Кого же и слушать, как не Тимошу: голова-парень.

А Тимоша уже дошел до самого своего до главного:

— Вот покажется иной раз — есть. А опять повернешь, прикинешь — и опять ничего нет. Ничего: ни Бога, ни земли, ни воды — одна зыбь поднебесная. Одна видимость только.

Тимоша повертел по-воробыному головкой, теснило что-то.

— Одна видимость. Дойти до этого, брат, что-о! Нет, а вот с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить, воздухом-то попитаться. Вот тут, брат...

И увидел, что заблудился уж Барыба, отстал, спотыкнулся.

Махнул Тимоша рукой:

— Э, да что! Ни к чему тебе это, ты-то утробой живешь... У тебя Бог-то съедобный.

Вышли из трактира. Ночь июньская, нежаркая, липой пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимоша в ватное обряхался, ну и чудак же!

— Ты что ж это, Тимоша, кутафья-кутафьей?

— А, да ну! Не спрашивал бы. Ту-бер-ку-лоз, брат. Так фершал в больнице и сказал. Простужаться — ни боже мой.

«Ишь ты, то-то он квелый такой», — и как-то увесисто почувал вдруг Барыба тяжесть своего звериного, крепкого тела. Шел тяжко-довольный: было приятно ступать на землю, попирать землю, давить ее — так! Вот так!

У Тимоши, в комнатухе с драными обоями, сидели за некрашеным столом трое ребят, веснушчатых, востроносых.

— Мать где? — крикнул Тимоша. — Опять нету?

— К земскому ушла, приходили, — робко сказала девочка. И стала в углу надевать полсапожки: неловко босиком-то, чужой какой-то пришел.

Тимоша насутился:

— Давай кулеш, Фенька. Да бутылку из выхода принеси.

— Мамаша не велела бутылку.

— Я те дам мамашу. Живо, живо! Садись, Барыба.

Сели за стол. Наверху пищала тоненько лампа с жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами.

Фенька из миски стала было отливать в долбленку кулеш ребятам. Тимоша на нее крикнул:

— Это что? Отцом родным гребуете? Мать получает все? Ну, я ее подучу, дай-ка придет вот! Шляется...

Ребята стали хлебать из общей миски, не в охотку, понуро. Тимоша хихикнул криво и сказал Барыбе:

— Вот Господа Бога искушаю. В больнице говорят — она, мол, прилипчивая, чахотка-то. Ну, вот и погляжу: прилипнет к ребятам ай нет? Поднимется у него, у Господа Бога, рука на ребят несмысленных, — поднимется, ай нет?

В окно постучали чуть-чуть, робко.

Тимоша торопливо распахнул раму и пропел ядовито:

— А-а, пожаловала?

И потом Барыбе:

— Ну, брат, собирай свои манатки. Больше тебе тут глядеть нечего. Тут дело пойдет сурьезное.

9. ИЛЬИН ДЕНЬ

Под Ильин день вечер — особенный, и благовест — свой особенный: в соборе — престол, в монастыре — престол, стряпухи во всех домах пироги к завтраму пекут, а в небе Илья-Пророк громы заготавливает. И небо-то под Ильин день какое: чисто да тихо, как в избе, вымытой к празднику. Все-то спешат по своим церквям: не дай Бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь, от века положенный на Ильин день.

Ну, уж это кто-то опоздает, да не Чеботариха только: первая она богомольница в Покровской церкви. Во-он когда, загодя еще, запрет лошадей Урванка.

Запрег, идет по двору — как раз мимо погребка. Глядь — а дверь открыта. Буркнул Урванка:

— Ишь, дьяволы, и дверь-то расхлябачили. Люди Богу молиться идут, а они — на-ка тебе. Охальники!

И посолил словечком покрепче. Хотел было дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся.

Пришел доложить Чеботарихе: все, мол, готово.

— А только дозвольте вас просить через черный ход выйтить... — и узлом завязал Урванка улыбку на закопченном своем лице: поди-кошь раскуси, что она такое означает.

— Что-й-то мудришь ты, Урванка! — сказала Чеботарихе. Одна-ко ж поплыла, шурша шелковым коричневым с цветочками платьем.

Спустилась, пыхтя, по ступенькам. Прошла мимо погребка.

— Дверь-то бы закрыл, догадался. Все им скажи да покажи... — Чеботариха женщина степенная, хозяйственная, а такая мимо раскрытой двери разве пройдет спокойно? Хоть и не надо, а закроет.

— А их-то как же, припереть там прикажете?

— Кого такое — их?

— Как кого? А Анфим-то Егорыча с Полькой? Чать, и им бы надо под Ильин-то день ко всеношной сходить?

— Брешешь, пыдлец ты этакой! Ни в жисть не поверю, чтоб Анфимка с ней...

— Да вот разрази меня Илья завтра громом, коль ежели я вру.

— А ну, перекрестись?

Урванка перекрестился. Стало быть — правда.

Побелесела Чеботариха и затряслась, словно опара, взбухшая до самых краев дежи. Урванка подумал: «Ну, завоюет». Нет, вспомнила, видно, что на ней шелковое платье. Выпятила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было:

— Урван, дверку-то закройте. Пора нам, пора в церкву.

— Слушаю, матушка.

Шелкнул засовом, отвязал лошадей, запылила по дороге знаменитая линейка Чеботарихина.

Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клироса. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку, на правом дяконовом сапоге. К сапогу прилипла какая-то бумажка, дякон стоял перед Чеботарихой на амвоне, и бумажка не давала покоя.

— «Недугующих и страждущих»... И меня, стало быть, страждущую. Ах, Ты, Господи, ну и подлец же Анфимка!

Кланялась в землю, а бумажка на сапоге — вот она, так и мельтешится перед глазами.

Ушел дякон — еще того хуже: нейдет из головы Анфимка проклятый. А она-то его холила, а?

Только во время «Хвалите» Чеботариха и развлеклась немного, о Барыбе чуть позабыла. Нет, каково: дяконова-то Ольгуня, образованная-то, столбом стоит! Вот оно, образование-то, все чтоб по-своему, не как все. Не-ет, надо дякону про это напеть...

Сторож в отставном солдатском мундире тушил в церкви свечи. Дякон вынес Чеботарихе на тарелочке хлебец: прихожанка она была примерная, богобоязненная, хорошо платила.

Чеботариха притянула его за рукав и долго про Ольгуню шептала на ухо и качала головой.

Урванка налегнул, отодвинул засов. Выскочил Барыба как ошпаренный.

— Чай кушать пожалуйста, — сказал, ухмыляясь, Урванка.

«Неужто не сказал?» — подумал Барыба.

Чванная, в шелковом, лубом стоящем, платье сидела Чеботариха, ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко: кто же святой хлеб жует?

«Ну, уж говорила скорей бы», — ждал Барыба, сердце трепыхалось и ныло.

— К чаю-то, может, молочка топленого велеть принести? — поглядела Чеботариха как будто и ласково.

«Измывается либо? А может, и впрямь — не знает?»

— Да где ее, Польшку-то, теперь сыщешь? Кургузить начинает, вешала-девчонка. Вы бы, Анфимушка, приглядели за ней.

Так вот, просто, будто бы и ничего, говорила себе Чеботариха, глотала хлебец по кусочкам, сметала со стола святые крошки и ссыпала в рот.

«А ведь не знает, как Бог свят», — вдруг Барыба уверился. Развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой, ржал — рассказывал, как дуреха эта Польшка супом поливала пельсинное дерево.

Солнце садилось медное, ярое: задаст Илья завтра грозу. Адели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая сидела Чеботариха и не усмехнулась ни один раз.

Весело отбивал Барыба поклоны в спальне, рядом с Чеботарихой, и благодарил неведомых каких-то угодников: миновало, пронесло, не сказал Урванка!

Загасла лампадка. Ночь душная, тяжелая под Ильин день. В темноте спальни — жадный, зияющий, пьющий рот — и частое дыхание загнанного зверя.

У Барыбы перестало биться сердце, заерзали перед глазами зеленые круги, слиплись на лбу волосы.

— Да ты что, али рехнулась? — сказал он, выпутываясь из ее тела.

Но она облепила, как паук.

— Не-ет, миленький, не-ет, дружок! Не уйдешь, нет!

И томила его невидными и непонятными в темноте, злыми ласками и сама всхлипывала: замочила слезами все лицо у Барыбы.

До утра. Сквозь каменный сон услышал Барыба колокол — к Ильинской обедне. Во сне услышал какое-то пение и ворочал окаменевшие мысли, силясь сообразить.

Но проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу, как встрепанный. «Да ведь это попы молебен в зале отпели!»

Оделся, глаза слипались, голова чужая.

Попы уже ушли. Чеботариха одна сидела в зальце, на кретоновом диване. Была опять в шелковом, лубом стоящем, платье и в кружевной парадной наkolке.

— Проспали молебен-то Ильинский, а? Анфим Егорыч?

Может, оттого, что и правда — проспал и было уже около полудня, а может, оттого, что пахло в зальце ладаном, — стало Барыбе неловко как-то, не по себе.

— Садитесь, Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем.

Помолчала. Потом закрыла глаза и лицо сделала, будто и не лицо, а так — пирог слобный. Голову набок — и сладким голосом:

— Так-то вот, грехи наши тяжкие. И не замолить их. А на том свете — Он-то, батюшка, все припомнит, он, батюшка, в гигиене серной дурь-то всю-ю выкурит.

Барыба молчал. «И куда это она гнет?»

Вдруг Чеботариха распялила всю глаза и, брызгая слюной, закричала:

— Да ты что же, пыдлец ты етакой, молчишь, как воды в рот набрал? Ай, думаешь, я про шашни твои с Полькой ничего не знаю? Девчонку спортить, пыдлец ты етакой развратной, — нипочем тебе?

Ошарашенный, Барыба молча ворочал челюстями и думал:

«А ведь вчера поросенка-то зарезали — это, поди, нынче к обеду».

Чеботариха совсем раскипелась от молчания Барыбина. Затопала, сидя, ногами:

— Вон, вон из мово дому! Змей подколодный! Я его на груди отогрела, паршивца, а он — на-ко-ся! На Польку — это меня-то, а?

Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыслей, сидел Барыба, как урытый, молча. Глядел на Чеботариху. «Ишь, как брыжжет-то, брыжжет-то, а?»

Опомнился, когда в зальцу вошел Урванка и сказал ему с улыбкой, с веселой:

— Ну, нечего, брат, нечего. Проваливай-ка. Твово тут, брат, ничего нету.

И сзади нахлобучил Барыбе картуз.

Перед ильинскою грозою пекло солнце. Ждали — воробьи, деревья, камни. Засохли, томились.

Барыба, очумелый, шатался по городу, присаживался на всех лавочках по Дворянской.

— Что ж теперь дальше-то, а? Что ж теперь? Куда?

Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть: балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости...

Бродил потом по каким-то задним улицам, по мураве зеленой. Проезжал мимо водовоз, у одного колеса соскочила, позванивала шина. Почуял Барыба, что и правда пить-то ведь хочется. Попросил, напился.

А с севера, от монастыря, насела уж туча, разломила небо на две половинки: голубую, веселую, и синюю, страшную. Синяя все росла, пухла.

Как-то, себя не помня, очутился Барыба под навесом, у чуриловского трактира в подъезде. Лил дождь; сбились в подъезде какие-то бабы, задрав на голову подолаы; громыхал Илья. Эх, все равно — валяй, греми, лей!

Само собой как-то вышло, что пошел Барыба ночевать к Тимоше. А Тимоша даже и не удивился нисколечко, как будто каждый день к нему Барыба ночевать ходил.

10. СУМЕРКИ В КЕЛЬЕ

Летом в четыре часа — самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и носу не высунет — жарынь несусветная. Ставни все позакрыты, с полной утробой сладко спитесь после обеда. Один вихорьки, серенькие, полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калитке какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит. Да уж нет, не прогневайся: не откроют.

Непристанный, шатуший, бредет в эту пору Барыба. Как будто и сам не знает — куда. А ноги несут — в монастырь. Да и куда же еще? От Тимоши — к Евсею в монастырь, от Евсея — к Тимоше.

Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка, вроде собачьей, у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь, с кружкой Арсентьюшка, блажененький — виттопляска с ним — вратарь, даяния собирает, неотвязный.

— Ишь, пристал, наянный!

Положил ему Барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам, мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Любили именитые тут хорониться: всякому лестно в монастыре лежать и чтоб денно и ночью о нем ангельские чины молились.

Постучал Барыба в Евсею келью. Никто не ответил. Он открыл дверь.

За столом без подрясников, в одних белых штанах и рубахах, сидели двое: Евсей и Иннокентий.

Евсей зашипел на Барыбу свирепо: ш-ш-ш! И опять устался, не мигая, наливной, стеклянноглазый — в стакан свой с чаем. А Иннокентий, губошлепый, баба с усами — замер над своим стаканом.

Барыба у притолоки остановился, глядел, глядел: да что они, ополоумели, что ли?

У другой притолоки стоял Савка-послушник: масляные, прямые палки-волосы, красные, рачьи ручищи.

Савка почтительно фыркнул в сторону:

— Ф-фы! Да-к, к отцу Евсею-то в стакан муха того гляди и сядет. Ай не видите, что ли?

Ничего не понимая, лупил Барыба глаза.

— Да-к, как же? Это у них теперича самая разлюбезная игра. Пя-

так там, гривенник поставят — и ждут, и ждут. К которому батюшке первому муха в стакан попадет — тот, стало быть, и выиграл.

Савке охота побалакать с мирским. Говорит, все время закрывая из почтения рот огромной красной ручищей.

— Гляньте-ко-сь, гляньте-ко-сь, отец Евсей-то...

Евсей — сизый, наливной, наклонился к стакану, шерился рот у него все шире — и вдруг грохнул, хлопнул себя по коленке рукой:

— Е-эсть! Вот она, голубушка! Мой пятак! — и пальцем выловил муху из стакана. — Ну, малый, чуть не подкузьмил меня. Спугнул ведь, было, мушку-то матушку.

Он подошел к Барыбе поближе, уставился стеклянными своими глазами, забубукал:

— А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слышали, совсем бландахрыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Ведь Чеботариха-то, она баба — я те дам, жадёна!

Усадил чай пить Барыбу, сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая ж без зеленого вина встреча? — выставил Евсей и косушку на стол.

Савка подал второй самовар. На столе — медяки. Псалтырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками.

Иннокентий что-то расстроился после водки, глазки у него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «Свете Тихий». Евсей и Савка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красной ручищей рот. Барыба подумал: «Эх, все равно!» — и тоже стал горестно подвывать.

Вдруг Евсей оборвал и заорал:

— Стой-ой! Стой — тебе говорю!

А Савка все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула, полоумный, дикарь. Задушит.

Иннокентий встал, согбенный, старушечьими шажками подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки.

Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и затянул:

На-а горе сидит калека,
У-бил чем-то человека...

Все, молча, усердно подтягивали, как раньше — «Свете Тихий».

Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамкая — старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось вот ему, что поперхнулся он чем-то. Застряло вот в глотке, да и только. Колупал-колупал пальцем: не помогает.

— Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миленочек, пальчиком? Может, и ощутишь что.

Савушка лез, вытирал палец о полу подрясника.

— Ничего, ваше преподобие, нету. Так это, пьяный бес блазнит.

Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху ни духу. Потом вскочил вдруг, лохмами своими затряс.

— По мне, ребятки, в Стрельцы бы, этга, теперь махануть. На радостях встречных. Барыба, малый, а, ты как? Деньжат бы вот только перехватить где. У келаря разве? Как, Савка, а?

Невидный у двери заржал Савка. Барыба подумал: «Что ж, отшибет, пожалуй. Позабить бы все».

— Коли отдашь завтра... У меня есть малость денег-то, последние, — сказал он Евсею.

Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес, головой, выпятил стеклянные свои глаза.

— Да я, перед Истинным вот, завтра отдам, у меня ведь есть, да только далеко спрятаны.

Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал из-за облака. Иннокентий зацепился подрясником за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену по нарочно, для ходу, выломанным кирпичам.

11. БРОКАРОВСКАЯ БАНОЧКА

Вот и опять тяжело-жаркий, дремучий послеполудень. Белые плиты на монастырской дорожке. Липовая аллея, жужжанье пчел.

Впереди Евсей, в черном клобуке, с приквашенными лохмами: нынче ему черед вечерню служить. А сзади — Барыба. Идет, да нетнет и опять растворит, как ворота, четырехугольную свою улыбку.

— Уж больно ты, Евсей, в клобуке-то чудной да непригожий. Гречневик бы тебе мужицкий или папаху, куда бы гожее было.

— Да я, малый, и то — в юнкера хотел идти, да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь и угодил.

— Эх, Евсей! Какой бы краснорожий, сизоносый казацкий есаул из тебя вышел. Или бы писарь волостной, пьяница, мужикам панибрат. А вот, поди ж ты, изволением Божиим...

— А как ты, Евсей, плясовую-то вчера в Стрельцах откатал, а?

Вó монахи пóступили,
Сáмовары зáкупили...

Евсей заухмылялся, передернул было плечами. Да уж нет, в этом бабьем наряде — куда там. Вчера — вот это так: рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые мышки, порты крашенные белые с синими полосочками, борода рыжая лопатой, зенки того и гляди выскочат, — настоящий лешак деревенский, и плясать ловкач. То-то нахохотались стрелецкие девки вдосталь!

Пришли. Барыба постоял минутку у старых церковных дверей. Выскочил Евсей, поманил пальцем.

— Ну, иди, малый, иди. Никого нету. Сторож — и то куда-й-то ушел.

Низенькая, старая, мудрая церковь — во имя древнего Ильи. Видала виды: оборонялась от татаровья, служил в ней, говорят, проездом боярин Федор Романов, в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы.

Бубукает, шумит, не уймется и тут Евсей, есаул в клобуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам — от махающего руками, бородатого, громкого Евсея.

Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом.

— Тута, — сказал он и вынес к свету пыльную баночку от брокеровской помады. Откупорил, перелистал, слюнявя, четвертные бумажки.

Беспокойно заворочал Барыба своим утюгом.

«Ох ты, дьявол! Десяток, а то либо и больше. И на кой они ляд ему?»

Евсей отложил одну бумажку.

— А остальные — либо на помин души оставлю, а то либо, этта, однова как-нибудь заберу все да стрелецким девкам на пропой раздарю.

Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в старых липах. Тяжкий звон кружит хмельную голову.

«И на кой они ляд ему?» — думает Барыба.

12. МОНАШЕК СТАРЕНЬКИЙ

На теплой от солнца скамеечке каменной, возле Ильинской церкви, старый-престарый сидит монашек. Выцвела, позеленела у него яска, прозеленью пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то, как клад, под старым дубом, выкопали его — взяли и посадили тут на солнышке греться.

— Да тебе лет-то сколько, дедушка? — спрашивает Барыба.

— И-и, милый, позабыл я. Да вот, Тихона-то вашего Задонского помню. Хорошо служил батюшка, истово.

Все вертится Барыба около монашка позеленелого, все льнет к нему. Ох, недаром!

— Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу.

И ходят под темными прохладными сводами. Убирает любовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчется. Свечку за светит — и станет, любитесь, теплится перед ней.

«Дунуть, вот — и потухнет и свечка, и монашек», — думает Барыба.

Ходит он за монашком следом: одно подаст, другое подержит. Полюбил Барыбу монашек. Народ-то ныне непочетник пошел, забыли все старого, слова перемолвить не с кем. А этот вот...

— Дед, а ведь страшно, поди, ночью-то одному в церкви?

— И-и, что ты, Христос с тобой, с ней-то, родимой, страшно?

— Дед, давай, я ночую с тобой?

Строго говорит из глубокого дупла своего монашек:

— Сорок лет один на один с ней ночевывал. И нелеть кому окромя и ночевать-то в ней. Мало ли что там в церкви ночью...

Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало ли что в ночной старой церкви?

«Ладно, подожду», — и ходит следом Барыба.

За всеобщей под Тихона Задонского уж так-то притомился старый монашек. Народу — несть числа было. Уж потом прибирали-прибирали с Барыбой, насилу-то кончили.

Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил и присел на минуточку малую отдохнуть. Присел — и потух ветхий, заснул. Подождал Барыба, кашлянул. Подошел, тронул за рукав монашка — спит. Шасть скорей в алтарь и ну — под престолом шарить. Шарил-шарил: нашел.

Крепко спит старый монашек — приучается уже смертным сном спать. Ничего не слышал старый монашек.

13. АПРОСИНА ИЗБУШКА

Кончается Дворянская, захудалые последние ларьки и фонари. А дальше — Стрелецкий пруд, старые лозинки засели кругом, обомшальный скользкий плот, стучат, нагнувшись, бабы вальками, ныряют уята.

У самого пруда, на стрелецкой слободской стороне присуседилась Апросина избенка. Ничего себе, теплая, сухая. Под скобку стриженная соломенная крыша, оконца из стекольных зацветших верешков. Да много ли Апросе с мальчонкой вдвоем и надо? Двухдушный надел сдала арендателью, а там, гляди, к празднику и муж гостинец пришлет — трешну, пятишну. И письмо:

«И еще с любовью низкой поклон дражайшей супруге Апросинье Петровне... А еще уведомляю, что нам опять прибавили по три рубли в год. И мы опять порешили с Плюшей остаться в сверхсрочных...»

Спервоначалу Апрося тосковала, конечно, — дело молодое, а потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так, представлялся вроде марки какой на письме или печати: его, мол, печать, его марка. А больше и ничего. Так и обошлась Апрося, обветрела, в огороде копалась, общивала мальчонку, на постирушки ходила.

У Апроси этой и снял комнату Барыба. Сразу понравилось: домовито, чисто. Уговорились за четыре с половиной.

Апрося была довольна: жилец солидный, не какой-нибудь оторванный, и с деньгами, видимо. И не очень чтоб заворотень или гордец: когда и поговорит. Заботилась теперь о двух: о мальчонке своем и о Барыбе. Весь день на ногах — обветрелая, степенная, ржаная, крепкогрудая: поглядеть люблю.

Тихо, светло, чисто. Отдыхал Барыба от старого. Спал без снов, деньги были: какого рожна еще нужно? Ел не спеша, прочно, помногу.

«Ну, ин ладно, угождаю, стало быть», — думала Апрося.

Накупил Барыба книжонок. Так, лубочных, дешевка, да очень уж завлекательные: «Тяпка — лебеднянский разбойник», «Преступный монах и его сокровища», «Кучер Королевы Испанской». Валялся Барыба, подсолнухи лушил, читая. Никуда не тянуло: перед Чернобыльниковым почтальоном и перед казначейским зятем было вроде неловко: поди, теперь уж всё проведали. А на баб даже и глядеть не хотелось, после Чеботарихи не остыла еще муть.

Ходил гулять в поле, там косили. Вечерняя парча на небе, покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи, позванивают косы. И вот бросили — и к жбанчикам с квасом, пьют, капли на усах. Эх, власть поработали!

Думалось Барыбе: вот бы так. Чесались крепкие руки, сжимались жевательные мускулы... «А казначейский-то зять? Вдруг бы увидел...»

— То-оже выдумал в мужики пойти. Еще, пожалуй, кожи возить на Чеботарихином заводе? Самая статья... — сердито бурчал на себя Барыба.

Вертись не вертись, а надо что-нибудь и выдумывать: так, без дела, не проживешь на Евсеевы деньги, не Бог знает какие тысячи.

Покумекал-покумекал Барыба да и настрочил прошение в казначейство: авось возьмут писцом, помощником бы к казначейскому зятю. Вот бы фуражку тогда с кокардой — знай наших!

Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил бархатный свой жилет (остаток житья привольного у Чеботарихи), воротничок бумажный, брюки «на улицу» и пошел на Дворянскую: где ж, как не там, казначейского зятя найти.

Тут, конечно. Ходит, длинногачий, тоший, вешалка, на всех глядит кисло, тросточкой помахивает. Так и хочет сказать: «Ты кто такой? А я, видишь, чиновник — фуражка с кокардой».

Кислую улыбку сунул Барыбе:

— А-а, эт-то вы? Прощение? Гм-гм.

Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок. Почувствовал себя приветливым начальством.

— Что же, я передам, хорошо. Я сделаю, что могу. Ну, как же, как же, старое знакомство.

Барыба шел домой и думал:

«Ух и смазал бы тебя, кислая харя! Однако, что говорить — обрарованно себя держит. А воротничок-то? Самого настоящего полотна, и, видать, каждый раз — новый».

14. ВЫТЕКЛО ВЕСЕЛОЕ ВИНО

Келарь Митрофан разнюхал, выведал все, собака, о Евсеевом походе в Стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблаговестил, нахвастал. А только знал келарь все до последней капли; и как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мышками подпоясанной, и песню

эту: «Во монахи поступили», и развеселое катанье на живейных по Стрельцам. Келарь, конечно, игумену. Игумен призвал Евсея да так его разнес, что Евсей вылетел, как с верхнего полка из бани.

Поставили Евсея на послушание к хлебопеку. К службам не ходил. В подвале у хлебопека — жара, как в аду. Главный чёртище Силантий, косматый, красный, орет на месильщиков, а сам отмахивает на лопате в печь пудовые хлебы. Месильщики, в одних белых рубахах, подвязав веревочкой космы, ворочают тесто, кричат, работают до седьмого пота.

Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные как будто отошли малость. О косушке и подумать некогда было.

Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять пошло старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савка послушник суется в глаза рачьими своими ручищами, ноет Иннокентий, баба с усами.

Савка рассказал про Иннокентия:

— Анадьсь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там дьяконок один был, из сосланных, веселый. Кэ-эк увидел он отца Иннокентия в натуральном виде: «Батюшки, кричит, да это баба, гляди, гляди, груди-то обвисли, стало быть — рожала».

Иннокентий запахивал плотнее рясу.

— Бесстыдный он, дьяконок-то твой. Оттого ему такое и притчится.

Дьяконок этот самый и сгубил Евсея. Пришел дьяконок с воли, скучно, понятно, вот он и шатался из кельи в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над стаканами, опять дулись «в муху» — к кому первому муха в стакан попадет. Увидал дьяконок, помер со смеху, завалился на Евсееву кровать, ножками болтает, ой-ой-ой (ножки у него коротенькие, маленькие, глаза — как вишенки).

На веселый лад дьяконок настроился — и пошел, и пошел. Все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был. Сначала скромно. А потом уж пошел и про попа, этого самого, что исповедников посылал догрешить: назначал он епитимью по пятнадцать поклонов за два раза — ну, и никак было не сосчитать, все выходило с дробью. И про монашку, которую догнали в лесу бродяги, целых пятеро, а она потом сказывала: «Хорошо-де, и вдосталь, и без греха».

Ну, словом, все уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу:

— Ай да дьякон! Ну, и разуважил. Придется, видно, угошенье тебе поставить. Подождете, отцы, а? Я в секунд.

— Куда тебя буревая несет? — спросил дьякон.

— Да за деньгами. Они, брат, у меня под спудом лежат, нетленные. Тут, недалеко. И глазом не морганешь...

И впрямь — дьякон и рассказа нового досказать не успел, а Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолоке.

— Иди, богатей, иди, предьяви-ка, — весело закричал дьякон и подошел к Евсею. Подошел — и обмер: Евсей — и не Евсей. Обвис,

обмяк, вытек весь как-то: проткнули в боку дыру, и вытекло все вино веселое, остался пустой бурдюк.

— Да ты чего же молчишь-то? Или приключилось что?

— Украли, — сказал Евсей не Евсеевым, тихим голосом и бросил на стол две последние бумажки: для потехи оставил вор...

Оно и раньше-то, правду сказать, Евсей умом тихий был, а тут и с последнего спятил. Пропил остатние четвертные. Бродил пьяный по городу и выпрашивал пяточки опохмелиться. Забрал его будочник в участок за веселое на улице поведение — будочнику этому весь нос расквасил и удрал в монастырь.

Наутро пришли к нему друзья-приятели: Савка-послушник, да отец Иннокентий, да маленький дьяконок. Стали его увещать: опомнись, что ты, выставит тебя игумен из монастыря, побираться, что ли, идти?

Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нюни по бороде:

— Да как же, братцы? Я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я, захоти вот, нынче же и вышел из монастыря. А теперь — хоти не хоти... Слободный был человек, а теперь...

— Да кто ж это такое тебя объегорил? — нагнулся дьяконок к Евсею.

— Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один. И ничего ведь как будто малый, а вот... Он, больше некому. Кроме него и не знал никто, где у меня деньги.

Савка заржал: а, знаю, мол!

Вечером, при свечке, за пустым столом — и самовар неохота было вздуть — судили, рядили, как быть. Ничего не придумали.

15. У ИВАНИХИ

Утром после обедни зашел Иннокентий. Принес просвиру за здравную. Зашептал:

— Знаю теперича, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка скорей к Иванихе. У-ух, она известная, заговорит вора — в момент объявится.

Утро росное, розовое, день будет жаркий. Воробьи празднуют.

— Эка, спозарань поднял, — ворчал Евсей.

Иннокентий шел мелкой бабьей походкой, придерживая на животе рясу.

— Никак, отец Евсей, нельзя. Или не знаешь: заговор — он натошак только силу имеет.

— Врешь ты все, поди, Иннокентий. Так только, зря проходим. Да и срамно — духовным-то.

Иваниха — старуха высоченная, дылда, костистая, бровястая, брови, как у сына. Не очень-то ласково встретила монахов.

— Чего надо-ть? За какой присухой пришли? Али с молебном? Так мне ваших молебнов не надобно.

И возилась, стукотала горшками на загнетке.

— Да нет, мы к тебе насчет... Отца Евсея вот обокрали. Не заговоришь ли вора-то? Слыхали мы...

Отец Иннокентий робел Иванихи. Перекреститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй: шутяка-то тут, еще спугнешь, ничего не выйдет. Как баба — шубейку, запахивал Иннокентий на груди свою ряску.

Иваниха глянула на него сверху, стегнула сычиными своими глазами:

— Так ты-то при чем? Его обокрали — нам с ним вдвоем и остаться.

— Да я, матушка, что ж, я...

Подобрал полы ряски, согнувшись, засеменял бабьими мелкими шажками.

— Как звать-то? — спросила Иваниха у Евсея.

— Евсеем.

— Знаю, что Евсеем. Не тебя, а на кого думаешь — его как звать?

— Анфимкой, Анфимом.

— Тебе на чем же заговаривать-то? На ветер? А то вот хорошо тоже на передник, над березовыми сучьями если его разостлать. А может — на воде? Да потом его, голубя, залучить да и попить чайком на этой самой воде.

— Во-во, чайком-то его бы, а? Вот бы ловко, мать, а?

Евсей обрадовался, забубукал, поверил: уж очень солидная да строгая старуха Иваниха.

Иваниха зачерпнула деревянным долбленным корцом воды, раскрыла дверь в сени, поставила Евсея за порогом, сама на пороге стала. Сунула в руки Евсею корец.

— Держи да слушай. Да, гляди, никому ни слова, а то все на тебя же и оборотится.

Зачитала медленно, вразумительно таково, а глазами сычиными низала воду в корце.

— На море — на Кияне, на острове Буяне стоит железный сундучище. В том сундучище лежит булатный ножище. Беги, ножище, к Анфимке-вору, коли его во самое сердце, чтобы он, вор, воротил покражу раба Божия Евсея, не утаил ни синь пороха. А коли утаит, будь он, вор, пригвожден моим словом, как булатным ножом, будь он, вор, проклят в землю преисподнюю, в горы араратские, в смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный. Коли утаит, будь он, вор, осиновым колом к притолоке приткнут, иссушен пуще травы, захоложен пуще льда, а и умереть ему не своей смертью.

— Будя теперь, — сказала Иваниха. — Попой его водичкой, голубя, попой.

Евсей бережно перелил воду в бутылочку, дал Иванихе целковый и пошел довольный:

— Я те, миленок, угощу чаем. Я те развяжу язык!

16. НИЧЕМ НЕ ПРОЙМЕШЬ

Привязалась к Барыбе ночью ни с того ни с сего лихоманка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественные.

Утром сидел за столом в тумане каком-то, пудовую голову на руки упер.

Стукнули в дверь:

— Апрося?

А головы не повернуть, такая тяжелая. У двери кашлянули баском.

— Савка, ты?

Он самый: волосы-палки, красные рачьи ручищи.

— Беспременно просили. Они дюже по вас соскучились, отец Евсей-то.

Потом подошел поближе, поржал:

— Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы — ни боже мой, не пейте.

— Каким наговоренным?

— Да известно каким: на вора наговоренным.

— Эге! — смекнул Барыба. Очень смешно стало. Дурак Евсей! Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то веселое.

У Евсея в келье — дымок сизый, накурено: дьяконок веселый надымил.

— А, гостечки дорогие!

И, вихляя задом, дьяконок подставил Барыбе руку кренделем.

Водки на столе не было: нарочно решили не пить, чтоб яснее в голове было — Барыбу уловлять.

— Чего это похудал ты, Евсей? Ай присушил тебя кто? — ухмыльнулся Барыба.

— Похудеешь. Не слышал нешто?

— Деньжонки-то твои слямзили? Как же, слышал.

Веселый, язвительный, подскочил дьяконок:

— А откедова же узнали вы это, Анфим Барыбыч?

— А вот — Савка сказал. Вот и узнал.

— Дурак ты, Савка, — обернулся Евсей уныло.

Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял на подносе особо, в сторонке. Иннокентий, суетясь, долил стакан кипятком и подал Барыбе.

Все уставились и ждали: ну, сейчас...

Барыба помешал, хлебнул не торопясь. Молчали, глядели. Стало чудно Барыбе, невтерпез, захохотал — загромыхал по камням. За ним заржал Савка и залился тоненько дьяконок.

— Чего ты? — поглядел Евсей, глаза у него были рыбы, вареные.

Громыхал Барыба, катился вниз, уж не остановиться, колотилось, зелено-туманилось в голове. Смешливый задор задира, толкал сказать:

— Я самый и есть. Я и украл.

Выпил Барыба, а все молчал и улыбался четырехугольно, зверино.

Евсею не сиделось.

— Ну, рассказывай, что ли, Барыба. Чего там.

— Про что рассказывать-то?

— Сам знаешь про что.

— Ой, Акуля, что-й-то ты шьешь не оттуля! Тебе про деньги, а? Так я ж тебе говорю: Савка мне рассказал. Только всего и знаю.

Нарочным голосом говорил Барыба: вру, мол, а поди-ка поймай.

Дьяконок подскочил к Барыбе, похлопал его по плечу:

— Нет, братец, тебя никакой разрыв-травой не проймешь. Крепок, литой.

Евсей замотал космами:

— Эх, пропадать! Беги, Савка, за вином.

Пили. Гуманилось, колотилось в голове. Зеленел дымок от курева. Дьякон плясал матросский танец.

В сумерках Барыба вернулся домой. И у самой у Апросиной калитки почувал вдруг: подгибаются коленки, заволокло глаза. Прислонился к косяку, перепугался: никогда такого не бывало.

Открыла Апрося дверь, поглядела на жильца:

— Да что ж это на тебе лица нет? Аль неможется, а?

Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка. Апрося в изголовье. На лбу мокрая, в укусе, тряпица.

— Болезный ты мой, — сказала Апрося жалобно и уютно, немного в нос.

Сбегала Апрося к соседям, раздостала Барыбе порошок лекарственного. Ночью заволакивало и опять проясняло в голове, и видел Барыба на стуле в изголовье дремлющую Апросю.

На третий день к утру отлегло. Лежал Барыба под белой простыней, с тенями серыми, осенними на лице. Попрозрачнел как-то, почеловечел. «И правда ведь, чужой я ей, а сидела ночь, не спала...»

— Спасибо тебе, Апрося.

— И, что ты, болезненький мой. Чай, ведь болен ты.

И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрядинной и холщовой рубаше, и совсем перед глазами у Барыбы мелькнули две острых колющих точки на груди под редким холстом.

Закрыв Барыба — и опять открыл глаза. В окна глядит жгучий летний день. Где-то там сверкает Стрелецкий пруд, купаются, белеет тело...

Заколотилось в голове еще жарче. Беспокойно задвигал Барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе Апросю.

— Она что? — удивилась она. — Да, может, вредно тебе? Ну-у, погоду, тряпку-то сменять пора.

Переменила спокойно тряпку и спокойно, хозяйственно легла на кровать к Барыбе.

Так и повелось. Целый день суетится, хозяйничает, горшками гремит Апрося, стрелецкая солдатка. Свой мальчишка, а тут еще и Барыба, и об нем пекись. Отболелся-то он, положим, живо, а все же управиться одной не просто.

Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к Апросе:

— Приходи уж-тка вечерком.

— Прийти, говоришь? Ладно. Сбил ты меня с толку сейчас. И что-й-то мне нужно было сделать — совсем замстилось. Да, бишь, яйца повынать из-под кур: опять хорек проклященный выпьет.

Бежала в курник. Раздувала потом самовар. Один у себя пил Барыба чай, перелистывая что-то. «И все читает, и все читает, долго ли так и глаза испортить». Укладывала мальчонку своего спать. Сиделась на лавку и жужжала веретеном: сучила шерстяные серые нитки для зимних чулок. Шлепался сверху, с потолка, толстый черный таракан. «Ну, стало быть, поздно, пора». Тупым концом веретена почесывала в голове, зевала, крестила рот. Старательно, плюя на щетку, начищала Анфим-Егорычевы сапоги, раздевалась, аккуратно складывала все в уголку на лавке и несла сапоги Барыбе.

Барыба — ждал. Ставила Апрося у кровати сапоги и ложилась.

Уходила через полчаса. Позевывала. Отбивала десять поклонов, читала Отчу и засыпала накрепко: натрудилась за день, не оберешься хлопот.

17. СЕМЕН СЕМЕНЫЧ МОРГУНОВ

Раз как-то Барыба сказал Тимоше:

— Да какой же ты портной? У тебя тут, дома, и шитва-то никакого нету.

А очень просто, почему не было. Тимоша — он ведь какой: то ничего, ничего, а то как закутит. Ну, и пропадай тогда заказчиковы брюки: обязательно проплет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить по домам. Многих обшивал купцов, также и господ — хорошо шивал, мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвоката Семена Семеныча Моргунова. Так и называл его Моргунов:

— Мой придворный портной.

Сапоги на Тимоше редко бывали: больше в закладе. И приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а под мышкой, в бумаге завернуты белые парусиновые туфли. В передней обязательно калоши скинет, туфли белые наденет — готов. И пойдут у них с Моргуновым разговоры необыкновенные: о Боге, об угодниках, о том, что все в мире — одна видимость, и как надо жить. Об Моргунове Тимоша понимал как об умном человеке. Да такой он и был, Моргунов Семен Семеныч.

Моргунов — это, впрочем, не настоящая его фамилия, а так —

прозвание вроде, дразнили его так по-уличному. Да только на него поглядеть — сразу скажешь: Моргунов и есть.

Лик у Семена Семеныча был тощий, темный, иконописный какой-то. Глазищи — огромные, чернишие. И не то изумленные какие-то, не то бессовестные — очень уж велики. Одни только глаза на лице и есть. И моргал ими он постоянно: морг, морг, — будто совестился глаз своих.

Да это что — глаза. Он и весь как-то подмаргивал, Семен-то Семеныч. Как пойдет по улице да начнет на левую ногу припадать — ну, как есть, весь, всем своим существом, подмаргивает.

И уж любили же его за хитрость купцы!

— Семен-то Семеныч, Моргунов? У-у, дока, язва! Этот, брат, дойдет. Без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-ка, подмаргивает-то как, а?

Так и повелось, что вел он у купцов все их делишки темные: вексельные там или — чего лучше — несостоятельные. И уж не мытьем, так кантнем, а доймают-таки суд и выплывет. Зато и платили ему хорошо.

К Моргунову вот и повел Барыбу Тимоша. Да оно и пора было.

Осень была эта так, какая-то несуразная: падал снег и таял снег. А со снегом таяли Барыбины-Евсеевы денежки. Из казначейства пришел ответ: отказали, дьяволы, кто их знает почему, какого рожна им еще нужно. Ну, вот и нужда была себе какое ни на есть дельце подыскать. Есть-то, ведь, хочется.

Семен Семеныч отвел Тимошу в сторонку и спросил о Барыбе:

— Это кто же будет?

— А это — так, вроде помощник мой: я вот шью, говорю — а он слушает. Без помощника-то ведь говорить не станешь, сам с собою.

Семен Семеныч задрезжал, засмеялся.

«Ну, значит, в духе: пойдет дело на лад», — подумал Тимоша.

— А раньше-то вы чем занимались? — спросил Моргунов Барыбу. Барыба замялся.

— А он у вдовы одной почтенной потешником был, — помог Тимоша, ковыряя иголкой в шитье.

Моргунов опять задрезжал: ну и занятие, нечего сказать.

А Тимоша невозмутимо продолжал:

— Ничего такого особенного, дело торговое. Все у нас теперь, по силе времени, дело торговое, тем только и живем. Купец селедкой торгует, девка утробой торгует. Всяк по-своему. А чем, скажем, утроба — хуже селедки или чем селедка — хуже совести? Все — товар.

Моргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал, хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг, иконописный стал, строгий, глазами вот-вот проглотит.

— Что ж, заработать хотите? — спросил Барыбу. — Дело найдется. Мне вот свидетели нужны. Вид-то у вас внушительный, годитесь как будто.

РАССКАЗЫ

ОДИН

I

Немые задыхающиеся дни. В тусклом молчаньи — точно ключья туч в лунном мертвом свете — скользят непонятные дни. Медленно или безумно быстро? Или совсем остановились?

Синим, холодным небом блеснули на миг: спешат, скорее — к счастливым. А потом на белых, сверкающих крышах — там за решеткой — ползут черные пятна, как на гниющем трупе все дальше. И опускаются сверху туманы — тяжелые, душные — точно лихорадочное забытье. К серым стенам прильнули, сосут...

— Ах, скорее бы ночь...

А она уже грозитя вдали, развернула черное знамя. Вздрогнули в испуге последние лучи, залились кровью, в бездну свалились. Радостно прынул оттуда мрак, тени мчатся вправо и влево, а за ними бежит ужас.

Черный кошмар.

Вьюга вцепилась в решетку, бьется за окном, рыдает в холодном мраке.

А внизу под ним, под его ногами, ходит кто-то. Мечется целые ночи — взад и вперед — без конца.

— Отчего он не спит никогда?

Вздрагивает тьма, шепчет страшную мысль.

— Быть может, уже безумный он — мечется там?

А он все ходит, неведомый, взад и вперед — целые ночи.

Без конца. Не взойдет никогда солнце. Вечно будет ходить он, страшный, внизу...

И вдруг — замолк глухою, темною ночью.

— Где он? Умер? Увезли его?

Молчат стены кругом.

* * *

Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Как слепые вихри во тьме — безумные мысли.

Все ходить, ходить...

— Как тот, что был внизу. А потом увезут так же — ночью?

Семь шагов, семь шагов. Толпятся, гонятся стены. Мелькают старые надписи. Чьи-то имена, забытые, полустертые, чьи-то стихи, скорбные, рыдают на холодном камне.

Кто их писал? И где теперь они и их муки?

За окном — колокола, звонят — плачут, далеко где-то, чуть слышно.

Там, далеко — странный огромный мир. Люди — идут, спешат, говорят впивают мысли друг друга. Люди!

Сердце бьется в холодные стены, задыхаясь, как воздуха ищет их... Люди!

Тихо. Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Чуть слышно колокола звонят — плачут: уже утро.

Длинными, бледными лучами ухватился рассвет за решетку, по вис мелкой сеткой дождя над тюремным двором.

— Там ходят теперь. К ним, к ним!

* * *

Там внизу — их шестнадцать. Запертых в шестнадцати клетках.

Налегли сверху мокрые, тяжелые тени — от каменных стен. Ни звука, ни слова. Тихо — будто нет там живых людей.

Невнятным пятном мелькнет лицо, и на нем две черных точки — глаза. Мелькнет — исчезнет.

Взад и вперед мечутся. Взад и вперед. Кружат, как дикие звери, все быстрее бегут. Некуда — взад и вперед...

Уже нет больше сил ходить и биться мыслью о стены, о дверь, о решетку — они стоят, прислонившись к забору, и вверх смотрят.

Маленький, четырехугольный клочок неба бросили им: не смогли закрыть. Облака хмуро смотрят вниз и плывут мимо. Уходят за стены — туда, где и они, пойманные, жили когда-то.

И задремавшая в забытьи жажда жизни просыпается, и рвет оковы и связи, и бьется, обливаясь кровью.

Чу! Бледные пятна в окнах — вон, вон! Там — товарищи.

Слышите? Рвутся к ним и протягивают руки — зовут их... И не могут отозваться они и выкрикнуть все, отчего задыхаются, и хочется кричать и биться головой о стены.

Остановились. Жадным взором цепляются за решетки, и ищут за ними человека, и бьются в темные стекла...

Недвижное, безмолвное смотрит вниз небо.

* * *

Вдруг оборвались все мысли. И все кругом умерло: одна пуста — и в ней падают звуки, острые, сверкающие.

— Тук-тук! Тук-тук-тук!

Снизу... Там — живой, внизу!

У трубы уже. Забилось сердце, как безумное, и рвется навстречу.
Нет дыхания. Нет дыхания. Тихо. Пар шумит в трубе.

И опять: тук-тук! Молнией разрезало тишину.

В радостном вихре путаются и пляшут мысли. Не вспомнить букв.

— Я слушаю.

— Стук! — упало снизу, дрогнула труба всем телом.

Закричать хочется от радости. Понял тот, внизу, понял!

— Кто вы, товарищ?

Молчит. Что же молчит он?

— Т-с-с! Отвечает...

Звуки дрожащие, обломанные. Путаются, не сосчитать их. А если не поймешь?

Падает вниз и холодеет сердце.

Нет, нет! Надо записывать...

Все растут ряды непонятных цифр. А в них закутаны, спят человеческие слова — точно листья в почках. Все растут... Сейчас развернутся, а с ними — весна и золото-солнце.

— Дзынь, дзынь!

Радостно вздрагивает труба. Слова бегут по ней искрами вверх, всю тишину — сверху донизу — пронизали жгучими змейками: свернулась, испуганная, серую пеленую, уходит...

Как много... Двенадцать слов!

Дрожит бумажка в руках. Надо положить на стол, чтобы прочитать.

— «Я рабочий Александр Тифлеев арестован двадцатого декабря сiju пятая галерея привет товарищу».

Все громче звонят колокола, все светлее.

Милые, смешные ошибки и пропуски. И самые слова от этого — не сухие, книжные, а живые.

Еще, еще читать — жадно пить...

Привет товарищу! О, милый!

Отвечать — скорее. — Сказать о новом, огромном, что нахлынуло, и о темном и душном, что было раньше, и о надеждах родившихся.

— Я — бывший студент Белов. Сiju один три месяца. Я вам рад. — Кончил и мучился: не то, не то! Тысячи слов дни и ночи лежали скованные и должны были родиться теперь и не могли — бились и мучили. Точно во сне: нужно крикнуть, а язык мертвый, чужой, неподвижный.

И еще без конца много нужно говорить. Кружатся мысли, падают где попало, как подхваченный бурей листок. Остановились.

— За что сидите?

— Убил...

Ровно ответила труба, спокойно.

Опустились мысли. Тучкой разочарование набежало. Уголовный?

— ...шпика, — докончила труба.

Ага! Злой и яркой молнией сверкнуло, и радостная волна мести отхлынула от сердца...

* * *

Потушили лампы. Зашлепали-заплескались в гнилом болоте шаги в коридоре. Холодной струйкой вытянулся, стегнул свист. Заскрежетал зубами замок.

Затихло, кажется. Чуть слышно застучал Белов — железным шепотом.

— Не спишь?

— Не хочется. Все думаю.

— О чем?

— Как шпика мы тогда убили.

И замолчали оба.

Потихоньку застучал опять Белов.

— Расскажи. Все равно не спим.

Расскажет он, будет долго в темноте рассказывать.

Взял Белов с кровати пальто, бросил на пол возле трубы, лег.

Луна взошла. Бродили лучи по камере, слепые, и было от них не светло, а только жутко: кто-то неуловимый, невидимый вошел в камеру и бродит по ней, слушает.

— Ночью это было, — начал Тифлеев. — В селе. Возле монастыря.

Сразу вырезались перед Беловым стены — белые, молчаливые. И колокольня — строгая, тоскливо-высокая.

Радостно всмотрелся: исчезла прежняя недвижность души — точно вымыли потускневшее зеркало. Как удар колокола — каждое маленькое слово: бегут во все стороны, перегоняются, падают — образы яркие, звучные...

— Дзынь. Дзынь-дзынь-дзынь. Медленно, тяжело стучит Тифлеев:

— Ветер был сильный.

...Динь-динь-динь. Это маленькими колокольчиками перебирает ветер — тоненькие, маленькие, в тоске и страхе мечутся, как испуганные птички в снег зарываются...

— Назначено было ночью собрание. Ждали товарища из города.

...Точно черного налили в воздух. А там наверху огонек одинокий, чуткий: собрались в комнате и ждут. Говорят и опять молчат. И смотрят нетерпеливо в темную ночь, прислушиваются: динь — ди-и-динь — звонит ветер...

— Привязался к нему шпик. Он на поезд — тот за ним.

...Сзади — молчаливый — точно тень. Черным мраком закрыл лицо — будто что-то гнусное, губительное скрывает. Все быстрее... И кажется, мчатся они уже в пустыне, и только двое их. С грохотом несется мрак и свистит мимо ушей. Искры вверх и вниз мечутся во тьме — как безумные мысли...

— Приехали. Он к нам идет, а тот опять сзади.

...Пустая улица. Крадутся по мертвым домам лунные лучи, с закрытыми глазами улыбаются на мокрому, черном окне. И вдруг прыгнули назад. От колокольни длинная тень упала. Прячутся в нее оба — друг от друга. А навстречу ветер звонит: дзынь — ди-и-нь...

Уже не слушает Белов. Мешают лунные лучи, делают что-то сзади, нужно смотреть туда. Привстал, обернулся: бледное пятно на стене — плещется беззвучно, двигается.

— Откуда оно, отчего?

Смотрит тревожно назад. А Тифлеев стучит громко и неровно — точно дрожат у него руки.

— Что это с ним? Вслушался.

— Заткнули рот. Повели в лес около монастыря.

...Повели. Молча по темному двору несут. Собака завывала: увидела незнакомое, нечеловеческое, с белой головой, бьющееся... В лесу — озираются, ступают неровно, ветки хрустят. Лунные лучи, слепые, натываются на деревья — длинные тени ползут, качаются — от ветра...

— Положили на землю. Только один сказал — отпустить его.

...Самое темное место. Черные, мокрые дубы колючие руки расставили, ниже наклонились. Ветер примчался, в ветвях засел и притих. И они замолчали все. Одна мысль у всех была — робко самый молодой высказал ее. И опять молчали. А потом вдруг заговорили все, задвигались.

— Ветки не было. И стал я его душить платком.

Тихо стучал, медленно. Почувствовал, как Тифлеев рассказал бы ему это: наклонился и шепотом говорит, и глаза все шире раскрываются.

— И я его утишил.

— Почему утишил? Почему он говорит «утишил»?

Вздрыгнул. Слово было странное, мягкое, как человеческая шея, задышающееся...

Замолчал Тифлеев. За окном ветер метнулся, притих. На полу лежал блик от луны и белел, мигал незрячими мертвыми глазами, точно лицо удушенного.

II

Опять рождался день и был такой же, как двадцать дней, как тридцать дней назад. И оттого все дни стали потом сливаться в одно огромное, тусклое — точно развернулось бесконечное осеннее небо.

Было страшно остаться в сером одинаковом море дней и не знать, где берег — и они стали отмечать их на стене.

Один день отметили крупным крестом: замерцала надежда в их слепом и глухом гробу. Ждали, что дадут свидание Тифлееву.

В субботу вечером позвали его вниз. Там скажут: будет ли это, или рушилось все.

А Белов лежал, весь измученный ожиданием.

Все не темнело. Долго перебежали тени по стенам.

Потом сразу мягкий сумрак разлился, расплылись жесткие линии камня и железа, все предметы стали мягкими и теплыми.

Все не шел Тифлеев.

Около головы кружилось ожидание и шептало что-то невнятное — Белов напрягался весь, вслушивался. В самой глубине где-то, вся завернутая черною тьмою, рождалась мысль, он отталкивал ее от себя, весь загораясь страхом.

— Ах, скорей бы, скорей бы...

Зажгли огонь. Тишина.

И вдруг просочились бледные, тусклые звуки: пели где-то вдали, медленно, торжественно.

Да ведь завтра праздник.

Слушал пение. Окутывало чем-то ласковым голову и баюкало. И потом сразу откликнулось далекое милое эхо.

Тихие подпраздничные вечера в большом доме: лампада щурится и сияет теплым светом, мебель и цветы кругом странно-новые, непохожие — точно замолкли важно, ждут чего-то.

— Где все это? Куда делось?

И казалось — ушло назад, как тихие, кудрявые берега, и смотрит сейчас издали.

А вдали опять запели. Опускались потихоньку звуки, целовали.

Белов закрыл глаза. Было хорошо, вспоминалось самое светлое, самое любимое.

...Длинные, зимние вечера — вдвоем, в мягком свете лампы с зеленым, надвинутым абажуром. Вместе с ней, с Лелькой, заглядывали в темную бездну загадок жизни и смело стучались в глухую стену и прислушивались к эху.

...Было что-то нежное и тонкое — как взгляд, как запах. И оборвалось — нелепо. Лопнули струны на половине аккорда — больно!

— А если оно вернется, красивое? Дадут свидание Тифлееву, можно будет передать ей письмо?

Буйно кровь застучала, забегал по камере.

И точно в ответ труба зазвенела...

Дали во вторник! Брызнуло светом и разнесло тьму, унизанную призраками. Забилося сердце — точно начинало жить. Белов остановился. Нарочно сказал себе:

— Ну, что ж. Ничего особенного.

И опять смеялся тихим, как дыхание, смехом радости, закрывая рот рукой. Мыслей было никак не собрать: точно вырвались из клетки и носились над горячими волнами в светлом просторе. Не знал, что писать.

Потом взял бумагу — давно уже была приготовлена — и написал только:

«Я сижу в тюрьме. Камера 201. Хотел бы получить от вас письмо тем же путем, каким получится и мое.

Сергей Белов».

Подумал и прибавил: «Ваш Сергей Белов».

* * *

Передать письмо вниз, к Тифлееву, решено было в воскресенье вечером.

Весь день стояла в тюрьме праздничная тишина — жуткая, томительная. Точно слушают все, что делается за стенами.

Там, должно быть, все живые и бодрые, как сухой морозный воздух, как праздничные блески инея. Там, должно быть, яркое, смеющееся солнце, сверкающий жизнью смех на чистом, скрипучем снегу. И в светлой, яркой комнате — радостная, кипучая работа рука об руку...

— А это все, что казалось вчера радостью — разве это жизнь?

Целый день лежал. Опять надвигалась издали пустота, и маленькой, тоненькой болью тоскливо ныло сердце — ушло куда-то глубоко, и чуть слышно оттуда его стон.

Молчал весь день и Тифлеев. И казалось, что все в тюрьме молчат и глотают тоскливые, мучительные слезы. Неужели там, снаружи, может быть весело?

— И Лельке тоже, может быть, хорошо — с кем-нибудь?

Хотелось застонать протяжно и долго: а-а-а! — как от боли.

К ночи небо стало тревожно-бледным и глубоким, точно убежало вдаль от пристального мертвого взгляда луны.

— Будет видно письмо при спуске.

Белов нахмурился. Черные, смутные страхи закружились около, прятались по темным углам и выглядывали оттуда, холодными пальцами прикасаясь к нему.

...А если оборвется нитка и захватят, прочтут?

...А если уведут Тифлеева, и опять он — один?

Опять вернуться назад, к прежнему?

Точно заглянул в бездну. Дна не было, и смотрело на него оттуда пустое, жутко-бесконечное, как небо в осенний ветреный вечер.

Вздрыгнул.

— Лучше смерть.

* * *

Когда все стихло и потушили огни, подошел к окну, открыл форточку. За окном кружился и рвал что-то и шумел ветер. Улетал и опять прижимался к окну, замолкал. Становилось совсем тихо и казалось, что если приглядеться, то увидишь приплюснутый к окну нос и любопытные глаза.

Было страшно начать. Чудился подкрадывающийся шорох, и сердце билось в тонком смутном тумане опасений.

— Ветер будет мешать. Не отложить ли?

Оборвал себя злобно:

— Что, трусишь?

Нарочно, назло себе, громко стуча ногами, подошел к кровати,

нащупал под ней в темноте и взял все, что нужно. Длинная и тоненькая, с письмом на конце, гнулась палочка от тяжести и дрожала, и казалось, сейчас тихо, без треска переломится.

Осторожно взобрался на парашу. Сомкнулась тишина стеной и надвинулась сзади вплоть до самого окна.

Нащупал пальцем отверстие фортки в холодном медном листе: узенькое, даже палец не проходит. Продвинул туда конец с нацепленным письмом и опять вслушался назад, в тишину. Слышно было, как ветер шумел порывами, все сильнее — будто все выше взбирался и обрывался оттуда вниз.

Из фортки шла холодная, морозная струя и упиралась прямо в тело.

Пригляделся. Было ясно видно — письмо выдвинулось уже за край широкого железного подоконника и висит над пропастью.

Задрожало что-то в груди, голова закружилась — точно сам стоял на краю и смотрел вниз.

Распустил нитку. Двумя быстрыми, неслышными шагами подошел к трубе, бросил вниз тихим, замирающим стуком:

— Готово.

И опять у окна. Опять холод из фортки, дрожат грудь и руки. За окном — ветер шумит, шумит, кружится. Схватывает зубами письмо и бросается с ним в сторону, потом в другую. Качается письмо, как маятник, а он вдали, ветер, замолк, смотрит. Потом схватит письмо и прянет с ним — вверх, и нитка висит, как мертвая, как пустая.

— Цело ли письмо? И удастся ли Тифлееву схватить нитку?

Ожидание — точно томительный, неперестающий звук.

И вдруг подпрыгнули сзади шаги и ударили по рукам — задрожала в них нитка. Тап-тап-тап — около самой камеры. Остановились. Замер весь и закрыл глаза. Ноги длинные-длинные и далеко где-то. Голова громадная и пустая, и внутри падают секунды, как капли:

— Два, три четыре...

Тихо.

— Сорок пять, сорок шесть...

И опять в тишине отпечатываются звуки шагов: тап-тап-тап. Все дальше — и стихли.

Вздохнул всей грудью, точно вынырнул из воды, глухой и холодной, и глотает свежий воздух.

Дрожат еще пальцы и ищут нитки. Опять ветер шумит за окном без конца, рвет из рук.

Тонет бодрость в светлом, видящем сумраке за окном. И уже отчаяние холодными камнями складывается в душе.

И потом, когда все кончено, и лежит он в постели — все еще вглядывается в темноту, и тревожные шорохи стучатся в ушах. Бледнеет уже измученное небо и тают усталые звезды, а он лежит все с широко раскрытыми глазами и неровно бьющимся сердцем.

III

Будет теперь свидание у Тифлеева только через неделю. Будет свидание и ответ от Лельки.

И вся неделя, все дни бегут мимо, незаметные, прозрачные — и сквозь них, как месяц через облака, светит вторник и то, что придет с этим днем.

— Что там? Праздник и светлое солнце? Или страдание извивается и немеет?

Белов ходил из угла в угол и ни о чем не мог думать. Брал книгу и смотрел в нее — и слова были пустые, прозрачные, точно из стекла: одни буквы, бескровные, неживые, и нет в них образов.

Хорошо, что хоть Тифлеев постучал.

Постучал — радостно рассказывал: в первой галерее, под его соседом справа сидит товарищ Фома, арестованный вместе с Беловым, шлет привет и говорит, что скоро повезут Белова на допрос — их уже всех возили.

Белов написал письмо Фоме — короткими и сильными словами, полными силы и бодрости. Перечитывал письмо — и было ему странно, что это писал он — тот же самый, что неделю назад жил серый и придавленный.

Наутро Тифлеев выстукивал письмо вниз медленно и старательно. И так же медленно стучал потом, что письмо получено и что будет ответ.

А потом стоял по целым часам у трубы и не ходил на прогулку, чтобы успеть к вечеру получить ответ от Фомы и передать Белову. И когда Белов нетерпеливо стучал и волновался, Тифлеев говорил ему нежные успокаивающие слова — точно мать.

Весь обвеянный теплым, мягко и ласково думал о нем Белов.

— Как странно. Он душил человека — такой нежный, ласковый...

Бежали мысли — и вдруг застывали на месте, и опять вырастал вторник стеной, молчаливой и загадочной. Что там — за стеной?

* * *

Весь вторник ждал. Притаившись, ползало за ним что-то невидимое и сторожило своею тенью каждую мысль. И вдруг пожирало все их, и наполняло собою все, и хватало за горло.

— А если ее уже нет, Лельки, если и она взята?

И долго, томительно звенело в воздухе.

До ночи ждал.

И только когда поздно ночью дрожащими руками вытянул из отверстия форточки и развернул — поверил, что есть письмо.

Письмо от Лельки.

Точно во сне. Точно во сне это. Через сотни замков, из темной

дождливой ночи пришло оно, маленькое, и прижалось к лицу ласково и тысячи слов обещалось сказать — неслышанно-радостных.

— Спасибо, — кричит он Тифлееву.

Свечка вспыхнула — и умерло ожидание и его тени. Наполнилась ликованием тишина ночи и засмеялась.

«Сергей, дорогой. Бесконечно рада узнать, что вы живы, по крайней мере. Всего можно было ждать. Чего только мы о вас не передумали. Мне больно очень, что никак нельзя помочь вам. Если что нужно — напишите: большим удовольствием будет сделать что-нибудь для вас.

Эх, Сергей! Если бы вы знали, какие сейчас у меня мысли в голове... Мир хорош, жизнь хороша...

Помните ли вы наши разговоры? И то, что мы с вами говорили о любви. Ну, так вот...

До свидания, милый мой учитель диалектики.

Л.»

Засияли в полутьме и запели мысли. И каждое слово ее, как звезда, поднималось во мраке. Ласково мерцало вдаль и манило, недоступное и загадочное. И родились от этих слов и голубыми лучами дрожали новые, светлые мысли. Дышали и жили в полумраке камеры и называли его любимым. Любимым!

Снова читал он эти слова, которые уже любил, — и они сливались в один аккорд, огромный, дивный, об одном все пели — как сливаются вместе и поют об одном потемневшее от страсти небо, и истомно замершая вода, и сияющий звуками соловей.

Снова читал — и вслушивался в полутени письма и неясный шепот.

...Мы с вами говорили о любви. Ну, так вот...

— «Ну, так вот». Что это? Что они хотят сказать — эти три маленьких слова?

Были они, как закрытые тонким, черным покрывалом: шевелилось под непрозрачным что-то живое и соблазнительное и шептало лукаво. Чудилось там — под покрывалом — горячее, ласкающее, захватывающее дыхание, и хотелось сорвать непрозрачное, черное — и нельзя было.

— А конец: милый мой учитель диалектики. Это она о длинных зимних вечерах, о горячих спорах... О, милая!

Тушил непослушные мысли — отворачивался нарочно от них, притворялся невидящим. И опять возвращался к ним медленно, понемногу, и опять ласкали его, все разгораясь...

А за окном плакала бесконечными слезами непогожая ночь, одинокая, покинутая.

Посмотрел туда в окно, на слепое небо, окунулся взглядом в холодную тьму — и неслышно, быстро ушло все куда-то.

Достала ночь своими длинными, холодными руками и шупает все, слепая, и радостно заливает огонь, загоревшийся в нем.

Хочет злобно-холодный рассудок — холодный и злой, как ночь.

— Как мальчишка — влюбился. Целовал письмо. Глупо как, стыдно! Одичал в тюрьме. И главное, чему радовался? Ну, чему радовался? Откуда выдумал, что она любит?

Падает сомнение холодными каплями — хихикающее, торжествующее. Медленно, мучительно разгорается стыд.

— Теперь, когда честные умирают, думать об амурах с какой-то девчонкой... Мерзко, позорно!

— С какой-то девчонкой? Не смей так про Лельку, славную, хорошую. — Кричало и грозило издали могучее, молодое, родившееся недавно чувство.

— Думать о какой-то девчонке!

Нарочно, назло повторил. Прошелся взад и вперед по камере, огляделся кругом: не было уже радостных, сияющих мыслей, растаяли призраки.

— Вот уже ничего и нет. Это хорошо. Рассудок сильнее в нем.

Подумал и опять оглянулся, и увидел истину — голую, костлявую — как смерть.

— И никакой любви нет...

Говорил и видел, как пусто, страшно и больно становилось кругом — кончилось все.

А потом изогнулся перед ним и смеялся над ним и над гордым рассудком мучительный и злобный, как дьявол, вопрос:

— Зачем сделал это? Зачем отогнал радостные, красивые призраки? Хотелось вернуться к старому? Увидеть старое — голую истину — смерть?

Вот она — смотри!

И что твой рассудок, гордый рассудок? Помог он тебе?

Этот вопрос смешал и перепутал все.

Прислушивался Белов к мыслям и всматривался в них — и не видел дороги: метелью неслись они, разметанные в мелкие снежинки, и не могли остановиться, огромными туманными образами вставали и падали, звенели нежными, обманчивыми колокольчиками и плакали потом...

IV

В дни свиданий по вечерам тюрьма оживала. Где-то внизу, в нижних галереях, труба стучала глухим нутряным стуком, частым и дробным эхом говорили стены справа и слева, и у каждой был особый голос. А если приложить ухо к стене — было слышно, как спешили и стучали в стену где-то далеко внизу, и звуки были совсем слабые, точно выходили из глубины земли, чуть заметны были — как утонувшая в небе птица. Везде говорили и спешили поделиться жалкими обрывками жизни. Маленькие крошечные события раздувались и вырастали в огромные и наполняли пустоту их жизни. Из-за пустяков по целым часам горячились и спорили.

Тифлеев приходил со своего свидания поздно вечером и скорей стучал ждущему, взволнованному Белову: есть письмо. И потом в печальном свете сумерек рассказывал все новости свои и полученные от соседей, и все свои горести и радости.

А ночью Белов читал письмо и долго не мог заснуть, и думал потом целыми днями о письмах и о Лельке.

Получил он от нее еще два письма. Одно было длинное и старательно рассказывало обо всех партийных новостях. А другое было теплое и ласковое, и опять туманно и неясно говорила она о том сильном, что переживает. Настораживался весь и прислушивался к ее словам, и они обдавали теплым и волнующим. Обрывок одной фразы, короткой и странно-красивой и гордой — белой с черным — врезался в память: «...любить, а если нужно — мы сумеем и умереть». Ясно представлял себе, как она сказала бы это: взявшись за спинку стула и откинувшись назад, раскрывши глаза — точно смотрела прямо навстречу смерти.

А его письма были все такие же — притворно-насмешливые и притворно-ласковые, и в обманчивых тенях малодушно прятал он свое чувство.

И вся эта игра прыгающих и скользящих намеков, и ласковые и теплые лучи, которые прятались, казалось, за ее словами, и письма, в которых они говорили на языке, понятном только им двум, и вся эта любовь к ней издали — все блестело и зажигало мысли, дразнило, как сверкающие водою и жизнью миражи в пустыне. Хотелось схватить руками, видеть ближе, ощущать.

И когда однажды принесли передачу от Лельки — какие-то пакеты и коробки со съестным и целый сверток белья — мысли хлынули вдруг, горячие, непослушные, и затопили волю. Платки, полотенца, простыни — все было Лелькино, и ее тонкий, чуть слышный запах переливался в жилы и зажигал в них кровь.

Развернул простыню. Простыня была тонкая, красиво выглаженная. Увидел Лельку, такую же чистую и тонкую, и с таким же свежим, раздувающим ноздри запахом — раскинувшуюся на этой простыне, спящую. Сердце рванулось, и миг охватило всего и толкнуло желание — целовать это холодное полотно.

Одним порывом, в котором собралось все гордое, холодное, боящееся чувства, — Белов сдавил, задушил поднявшее голову желание. Лег спать измученный, с бьющимся сердцем и кипящей кровью.

* * *

Еще дрожало в нем что-то и сладко ныло в груди, когда он проснулся.

— Если бы правда!

Закрыв глаза и одним легким усилием построил опять всю стран-

но-красивую и трепетную картину сна — точно он не растаял еще и был где-то тут, в воздухе — сдерживать только покрывало.

...Узенькие, длинные ступени — как у древних греческих храмов. Со всех сторон свет, ослепительный, бушующий — будто десятки солнц кругом.

Впереди идет она — Леля. Медленно, как богиня, идет она, ослепительно сверкая телом.

И что-то яркое, горячее и бушующее, как этот свет кругом — у него в груди. Весь во власти этого, и как слепой, как раб — идет за ней, за богиней, и целует следы ее ног. И этого — мало, хочется чего-нибудь еще более рабского, еще более унижающего.

— Это — любовь, — говорит он себе.

И они идут дальше — по белым и теплым ступеням. Все выше идут, и все ярче свет, уже и круче ступени.

Голова кружится. Страшно ей, страшно ей, смотрит синими глазами, испуганными, как ребенок, тянется. Скорее к ней — взять ее на руки — маленькую, слабую...

Уже рядом он с ней. И у самой груди своей видит ее золотые волосы распущенные, и в золотых волнах — белое с розовым смеется — ее маленькая, нежная грудь, так странно-близко. Так хорошо...

А сзади крадется кто-то, темную тенью давит вниз непонятно, шепотом нечистым шамкает: стыдно.

Меркнет свет и радость. И с болью говорит Белов вслух чужим голосом: стыдно. И стоит неподвижно, глаза опущены. Стоит неподвижно.

Вдруг видит маленькие светлые капли — внизу на белых ступенях — шевелятся, блестят. Слезы ее — слезы!

С ненавистью к себе сжимает он зубы: ах, зачем это сделал, что-то жалкое и оскорбительное? И на коленях протягивает он руки, умоляя.

Сверху — она опускает руки и прижимает нежно его лицо к себе — прощая.

И он зажигается радостной силой и тысячью поцелуев приникает к ней.

И вот уже нет его: растворился в ее дыхании, в радостной ее близости. Десятки солнц пылают и кружатся бешено, и несут его куда-то. В пропасть, ослепительно-светлую.

И теперь Белов чувствовал, что желание, властное и могучее, как красота, чистое и свободное от стыда, как весенняя природа — охватило всего и мучило, требуя повиновения.

Хотелось мучительно, чтобы она взяла всего его, и сама — вся была его.

Хотелось видеть ее, Лельку, как во сне, с распущенными волосами. Хотелось любоваться каждым уголком ее прекрасного, нежного тела и медленно, благоговейно целовать его.

Хотелось, чтобы смеялась она — серебряным смехом, счастливая и гордая.

Хотелось, чтобы плакала она — чтобы целовать ее волосы, и глаза, и ее слезы — и утешать ее, маленькую и слабую — как ребенка.

Вытянулся весь, закусил губы.

Рвался изнутри нетерпеливый, стонущий крик от охватившего, ищущего — и бессильного желанья.

— Лелька, Лелька! Любимая моя, жена моя!

— Да. Жена... — повторил это слово, и оно было теперь строгим, таинственным и важным.

— Ну да. Я люблю ее как жену. И счастье — это она. — Сказал он просто и ясно, точно говорил о чем-то старом, давно решенном.

Сразу заметил это, и заговорило в нем на минуту старое, недоверчивое, спрашивающее.

— Почему она — счастье? А счастье борьбы — и победы или гибели? А мой разум?

И новый Белов радостно и смело ответил:

— Это все — кусочки жизни — и борьба, и жизнь разума. И в них работает не все мое существо, и дают они не все счастье — только кусочки его. Радостно пожертвовать собою, отдать себя в борьбе? Да? А если я отдам себя, свои мысли — сначала ей, любимой, и возьму счастье, и отдам потом все — и любовь и себя — ведь жертва будет больше. И если в жертве счастье — и счастье больше?

— Ну да, да, — радостно отвечал себе, оживая.

— А жизнь разума, борьба, творчество — ведь все это даст в тысячи раз большее и живое счастье, если сначала отдать его любимой и опять получить от нее.

— И если желание счастья — то, что двигает всеми людьми и всею жизнью — а это так, то любовь должна родить тысячи красивых и смелых поступков и сделать их в тысячу раз сильнее, смелее и красивее.

— И те, которые говорят, что любовь может мешать...

— Да ведь это я говорил, ведь это я, — вспомнил Белов и улыбнулся снисходительно.

И почувствовал всем своим существом, и понял ясно и твердо, что без любви — нет счастья, без любви — страстной, сжигающей стыд — когда двое любят тело друг друга, как свое, и любят ум, волю другого, поступки, как свои.

И что для него нет счастья — без Лельки, без ее синих глаз, без ее маленьких рук, без ее нежного и горячего тела, без ее серебряного смеха, без ее острого и радостно-пытливого ума, Вспомнил, что в книге лежит начатое письмо к Лельке, к жене.

Изорвал и стал писать новое, не останавливаясь и почти что не думая.

V

— Все ты говоришь о Леле. Любишь ее?

Ни на минуту, ни на миг не остановился Белов и простучал уверенно и твердо:

— Люблю.

И когда Тифлеев стукнул быстро и звонко, точно радуясь его счастью, он добавил:

— Очень.

— А отчего свидание не устроишь? Ведь хорошо. А с невестой они дадут.

Удивился, как эта светлая и простая, как солнце, мысль не явилась раньше. С невестой, с женой — должны дать. Если они люди... А бояться показать, что он знает ее — теперь уже нечего. Ведь все равно после — если она пойдет за ним...

Свидание! Счастье безумное.

Вдруг — видеть Лельку, и слышать ее голос, и целовать...

Как если бы солнце середь ночи — дождливой, холодной, мертвенной — выпрыгнуло из-за облака и засмеялось золотистым смехом.

Да ведь оно уже почти взошло — солнце. И если оно двигается — солнце-счастье, оно совсем придет и без следа развеет тьму...

Как только отошел от трубы, вынул письмо. Было оно сложено длинной белой полоской и запрятано в корешке книги.

Выбрал свободное место на тонкой, мелко исписанной бумаге и писал:

«Опять, как вчера, я люблю тебя — больше нельзя любить — жду тебя, и твоих ласк, и твоих взглядов.

И если это так, если ты меня любишь, а для меня ты — солнце и счастье — подумай: можно добиться свидания. Придешь как моя жена. И я почувствую тебя, и увижу твои глаза...

Сердце бьется, как безумное, когда думаю об этом. Это будет».

И опять читал сначала, и опять становилось тепло и радостно: были эти слова рождены его любовью, как лучи солнцем.

Радостный и улыбающийся, он долго ходил по камере, а потом заглянул вниз — на прогулку.

Захотелось чего-то отчаянно-мальчишеского, смешного, дерзкого.

Раскрыл мысли и перебирал их, и среди них одна лукаво улыбнулась ему.

И он положил губы на холодную медь фортки, пригнулся, чтобы снаружи не было видно, и во всю силу голоса крикнул:

— Эй! То-ва-ри-щи-и!

Яркой, дрожащей пеленой повис крик над двором и заколыхался — и все смотрели вверх. Ухнуло в камере эхо и, дерзкое, хохочущее, помчалось по коридорам, раскидывая по сторонам тишину.

Вдруг засуетились и забежали за дверями, зазвенели ключами, останавливались и спрашивали. Точно загорелось — и проснулись все.

Потом стояли около его двери и говорили:

— Это — не он. Этот — тихий.

Он слушал и хохотал, и ему было весело.

А солнце смеялось в окно, и лучи его шурились от смеха и кривлялись, переламываясь на наклонном подоконнике.

Снаружи у окна сели два голубя — самец и самка. Самец был надутый и расфранченный — в золотом воротнике вокруг шеи, а самка — маленькая и кокетливая.

— У-у-у! У-у-у! — вдруг зарычал самец важно и громко. Распустил крылья и хвост, отошел в сторону от самки, закружился там. Смешно топтался ногами и приседал.

А самка притворялась, что ничего не видит и ничего не понимает, и старательно клевала железо подоконника.

Белов смотрел на них в упор в отверстие форточки и вдруг не выдержал и фыркнул.

— У-у-у! У-у-у! — опять затоптался и надулся самец.

...Ну точь-в-точь — люди, когда они кокетничают и притворяются — перед другими и перед собой, — что они ничего не понимают и не знают, что их влечет друг к другу и чего они ждут один от другого. И как этот расфрантившийся самец, так же глупо и смешно рядятся друг для друга, а сами ждут видеть один другого без этих глупых воротничков, и корсетов, и перчаток.

И обманывают друг друга словами и поступками, и сами себя, и стараются скрыть свою любовь, как что-то стыдное...

Вспомнил о своем последнем письме, изворотливо и хитро говорившем между строк о его чувстве — о письме, которое изорвал.

— Дурак, как этот самец, — обругал себя с досадой.

А самец в это время подбежал уже к самке. Собрал хвост и опустил перья на шее и на груди. И все его тело, изящное и стройное, и сильная, выпуклая грудь, отливающая золотом, — обрисовалась теперь ясно и красиво. А самка перестала глупо клевать железо и, подняв голову, смотрела навстречу покорным и ждущим взглядом.

Крылья плескались и трепетали в воздухе, глаза подернулись красивой прозрачно-голубой пленкой. А солнце играло с золотистыми перьями и ласково смотрело на них.

Оба они были красивы теперь. Любовался ими.

— ...Глупы и смешны, когда влюблены, и хороши, когда любят. Как люди, — сравнивал опять Белов.

Была суббота. Ударили в колокол — и звуки долетели сюда слабые, слепые, дрожащие. Стукнулись — мягко и робко — в окно, в лицо Белову, в голубей. И они улетели — счастливые, любящие.

На минуту стало пусто и грустно в камере. Солнце заходило.

— Когда еще я буду не один, — подумал он с тоской.

А любовь — сильная и живая — встала перед ним розовыми, по-

следними лучами солнца и улыбнулась укоризненно и весело: разве он не верит ей?

Заворожила верой — могучей и крепкой — и легко, одним толчком, отбросила далеко и тоску, и страх, и отчаяние.

* * *

Зашевелились и загремели в коридоре. Отворяли одну камеру, потом другую — верно, повели их в церковь.

Вдруг застучали, вошли двое.

— В город. Приехали за ним...

На допрос! Забилось сердце сначала тревожными и быстрыми толчками, а потом веселыми и легкими.

— Это — борьба. Это — весело. — Он почувствовал в себе силу, смеющуюся, вызывающую. Тряхнул головой — едем!

Улица. Небо — громадное, невиданное, новое! Взмахнуло над головой звездами — их тысячи смеются наверху.

А дома, дома! Разные все стоят, большие и маленькие. Дома — милые, светлые! И мальчишки бегут, Мальчишки!

В карете черные шторы. Рядом сел человек в серой шинели, в борде, с револьвером. Борода — как у унтера — дядьки в гимназии.

Застучали, покатались. Странно как: ехать вперед, вперед, далеко... Голова кружится.

— А! свернули куда-то? Конки звонят, бегут. Над ухом лошадь фыркнула.

Посмотреть туда на живых, Ну, чуть совсем.

— Чтобы не видно было снаружи? Хорошо, хорошо.

...Людей сколько, Господи!

Студент с девушкой — за руку. Милые, хорошие. Ну, постойте, ну, секунду еще!

Фонарщик лезет. Успеет зажечь, пока доедем? Ну?

Шум, шум, веселый — и сразу точно лопнули струны: темная, пустая улица. Что там в этом домике — за светлым замерзшим окном?

Бегут, спешат мысли, подпрыгивают, скользят... Катится карета...

— Трак! — шелкнула дверца, дохнуло холодно.

Темный двор, шаги сзади. Узенькая, грязная лестница и коридор — длинный, угрюмый. Вниз куда-то...

Странная комната с сумрачными сводами. Лампа вверх — обрекает темноту, а внизу еще непонятней клубится и копошится она.

А! тут ждать...

Шевелятся фигуры в углу — темные, без лиц. Головы качаются — и свечка качается удивленно. Смеются хрипло и делают что-то. Что?

Вот, у стола, круглые и четырехугольные ящики и длинные, круглые валы. И темная, плотная стена печатной бумаги.

Опять пригибается свечка и тусклые, испуганные взгляды бросает кругом.

Снуют и шепчутся физиономии, с поднятыми кверху усами и стеклянно-блестящими глазами. Шушукаются и сталкиваются за спиной и опять бегут мимо... Противно, противно...

— Как долго!

Секунды бегут, минуты, тени, лица...

Опять лестницы и коридоры — и вдруг свет, холодный, яркий.

Двое их — ждут за столом, двое — кольнули взглядами.

Злое, насмешливое шевельнулось и потянулось к ним через прищуренные глаза и улыбку.

И началась игра, острая и страшная, как танец на канате, и приятная, как заглядывание в пропасть.

Со смехом бросал им нить и дергал ее. И они бежали за ней и хватались за нее, радостные, торжествующие. Сдается он уже, тише и короче говорит, а глаза смеются, и на губах шевелится и жалит змея.

И сразу выдергивает нитку — летят они навзничь и, смущенные, стараются незаметно подняться.

Молчат секунду, роются в белых листках — шуршат...

Вытаскивают и заносят над ним самое тяжелое, острое.

И рассекают пустой воздух:

— Ну-с, на сегодня, пожалуй, этого развлечения достаточно? Не будет он больше отвечать. Скучно.

Сверкают зубы, и глаза шурятся, смех дрожит в них...

— ...Если бы Лелька все это видела!

И опять карета, темные и светлые улицы, и мягкое покачивание на рессорах...

* * *

Теперь Белов знал, что его ждет. Длинные, темные годы пойдут медленными, тяжелыми шагами — в кандалах.

Но это уж не шептало черных мыслей — как раньше, и было на душе бодро и радостно: завтра придет от нее письмо, и в нем — ее любовь.

VI

Проснулся и лежал, закрывшись с головой, вытянувшись. Темнота лежала вместе с ним, теплая и мягкая, и только там, где были ноги, пальто не хватало — пробирались лукавые, смеющиеся лучи, толкали и будили тьму. А вытянутое и гладкое пальто смотрело сверху, как крышка.

— Так и в гробу буду лежать. И так же темно будет. А сверху будут лезть черви — слепые, жадные, скользкие...

И так нелепа и невероятна была эта мысль, что ей нельзя было верить. И не поверил. Страшно ничуть не было — он засмеялся даже.

— Не может быть. Не умру, — подумал Белов спокойно и уверенно.

Окно было запушено ночной вьюгой — точно чем-то теплым и мягким завешено снаружи. Лучи ударялись о снежинки и блески и шекотали их, а те смеялись и сияли глазенками, и шутливо отбивались от них, отбрасывая ледяными искорками.

Было весело — точно звонили, переливались, подплясывали в воздухе колокола.

И сплошная, одинаково радостная, непрерывающаяся — как звон колокола — была кругом в воздухе мысль о том, что сегодня это должно случиться, сегодня должно прийти письмо.

Радостно было и ждать, что сейчас отворится тяжелая дверь, и камера с густым и вонючим после чистки парашаи воздухом останется позади, а он будет дышать холодом и свежестью.

Быстрыми и легкими шагами ходил Белов в своей клетке.

Было легко — точно весь тянулся кверху.

Там — небо, чистое, синее. Засмеялась весна — далеко еще где-то; за морем. Резвый и чистый, как звон серебряного колокольчика, долетел смех, перегнулся сюда — в темный колодец смотрит голубым, ясным взглядом и звенит в душе.

Воздух — как хрусталь, холодный и чистый, а сквозь его грани тысячью огоньков мигают и смеются тепло и жизнь — чуть видно их, далеко еще они.

Облачко навстречу плывет — золотисто-розовое, мягкое. Купает свое нежное тело в голубом море и плывет навстречу весне и далекому невидному солнцу.

Хорошо там вверху. Без конца плыть вперед...

Карабкалась мысль вверх на головокружительную высоту и останавливалась. Опять поднималась и останавливалась, снова ползла, и все-таки оставалось перед ней что-то непонятное.

И от этой синевы, в которой тонул и задыхался взгляд, начинала кружиться голова. Уплывали мимо серые с черными окошечками стены, и сам плыл куда-то, покачиваясь, на дремлющих, неслышных волнах.

Закрыл глаза. Было легко, и казалось, под ногами нет земли. И мысли были легкие и светлые — точно из лучей и хрустального воздуха.

* * *

Когда шел назад — душная и темная тишина тюрьмы побежала навстречу ему. И когда был наверху — она собралась и прынула снизу — огромная и зловещая.

Заглянул в лицо ей дразнящим и смелым взглядом и засмеялся навстречу ей: не боится он — сегодня ждет его письмо. Оно уже написано, и близко где-нибудь, и любовь с ним.

Потом глухая камера проглотила его. И камень задышал в лицо, и

решетка хотела сковать мысли — а ему было весело: она скажет ему сегодня, что любит. Скоро это будет, скоро.

Весело-золотистое облачко смотрит еще в окно, и весна, и жизнь издали смеются. Что ему решетка? Что ему стены?

Вот и Тифлеев ушел уже на свидание. Опять стало тихо, как замолчал его стук.

Смеркается. Часы зазвонили. Ну, скорее ночь, скорее радость...

Отчего вдруг такое темное, хищное стало небо и так страшно улыбается в окно?

Все равно! Не страшно — письмо уже получено! И это самое окно, и ночь помогут ему...

Как темнеет! Умерло уже розовое облако, и душа его, легкая, прозрачная, сотканная из солнечных лучей, улетела, и глядит в окно тяжелая сине-серая туча. Она — мертвая. И в ужасе бегут от нее, мечутся последние лучи.

Мертвая, тяжелая, повисла над головой. Холодно...

— Ничего. Опять загорится радость и согреет — ночью прочтет он письмо...

* * *

Свечка горит. Кругом нее тени прыгают. И она кивает им, и говорит им на незнакомом языке — останавливаются, насторожились...

Вот оно, письмо, вот оно!

Розовым отливают тени, шепчут о любви, о прекрасных, обманчивых призраках...

«Сергей, мой милый товарищ! Вы, бедный, измучились, фантазируете, нервничаете, экзальтированный стали какой-то. Ну, разве можно так письма писать?»

Боюсь не сделать бы вам больно, мой бедный. Я готова помочь вам всем — смело обращайтесь ко мне, но о свидании нельзя и думать: я уезжаю на днях со своим женихом. Его высылают отсюда.

Простите, что пишу это так прямо. Я знаю, вам не надо жалких слов. Ведь вы найдете в себе достаточно силы?»

— Что это?

Пламя вытянулось кверху — длинное, и все тени вытянулись — длинные — и слушают.

А он улыбается. Глаза неподвижные. Замерли на одной точке — нельзя сойти с нее, нельзя двинуться: кругом бездонной пропастью обступает ужас. Губы улыбаются и дрожат на мертвом лице.

— Ничего, ничего. Это — так. Не может быть, ведь...

Чудо? Нет чуда.

Простые, понятные и беспощадные, как смерть, слова охватывают мысли. Рвут и топчут душу, с дикими воплями разрушают в ней все.

Умерла на губах улыбка — последняя в жизни. Умерла жизнь. Осталось чужое, страшное.

— Нужно найти в себе достаточно силы...

И знакомая пропасть вниз, полная смерти и молчания, раскрылась перед глазами.

Метнулось последний раз пламя красным стонущим блеском и потухло.

...Утушил — вспомнилось вдруг странное и страшное слово.

Сел на кровать. И казалось, рассудок, помертвевший и придавленный, вдруг вырвется и помчится с диким, безумным хохотом, и дрожью, и воплями.

VII

С утра началось страшное, нелепое, невероятное — как если бы он сам стал выдавливать себе глаза и резать медленно пальцы. И когда он оглядывался на себя и на сухой, распаленный вихрь своих мыслей — он не верил им. Казались они ему чужими — и он не имел над ними власти.

Красным огненным потоком злоба залила его. И в урагане кружилась, и бросала вверх, и разбивала о землю. Свою любовь разбивал он, сам себя разбивал. Скрежетала зубами его гордость, и металась, и падала в одном вихре со злобой, и визжала, и засохшими губами шептала проклятия.

Одно и то же видел он: сидит она у него на коленях — у другого, обвила его шею голой рукой, и погружает в его глаза свои, синие, и ищет там свое отражение.

И он самыми грубыми словами оскорблял ее — святыню, любовь, душу, ее — чистую, любимую Лелю. Плевал в лицо своему богу и ударял его, и топтал ногами. И это было чудовищно и нестерпимо больно.

Он рвался к ней, к милой, к любимой, к счастью — чтобы кланяться ей, как богу, чтобы жить для нее.

А она отворачивалась и не видела его любви, его безумного поклонения раба. Никто не мог так любить ее, а она не смотрела.

И опять потухало солнце, падал мрак в его душу, и кровавые, дымные тени бесновались и грызли — с визгом, и убивали себя.

Бегал по камере, кусая губы. Прижал руки к лицу — до боли. И потом бил кулаком по стене изо всей силы — искал боли, и зарывал головой в подушку.

Из темноты, низкая, приподнялась из земли мысль и показала свое подлое, злобно смеющееся лицо и оскаленные, гнилые зубы.

Вздрыгнул и отвернулся — так отвратительна и гнусна она была. И опять поднялась она, эта мысль, и встала во весь рост. Как дьявол была в дыму злобы, отвратительная и манящая. И Белов пошел за ней.

Взял все письма. Была там вся она, чистая и любимая, были ее нежное сострадание и теплая ласка, и слова утешения. Были это ее

письма, которые были для него самым святым в тюрьме и которые целовал он.

Взял письма и разодрал их. И бросил в самое гнусное место, куда не бросал даже своих плевков — бросил их в парашу.

* * *

Ночь спустилась над тюрьмой тяжелой, мраморно-черной плитой. Придавила тысячи страданий, тысячи людей заснули и забылись, а он не спал.

Ползали и копошились в темноте мысли, как могильные черви. Точили его мозг. И все красивое — чем он жил, все разлагалось и показывало свои кости — пугающие и отвратительные.

И в этом смраде смерти родилось письмо — безумное, нелепое, злобное. А поверх злобных и диких слов прорывалась любовь, могучая и неистребимая, росла поверх — как белые душистые цветы на могиле.

Хотелось, чтобы скорей получила она это письмо — точно это могло вернуть ее. Молил Тифлеева об этом. Пусть бегут за ней, пусть бегут, пусть ищут, пусть пошлют туда, куда едет она...

Опускал его в холодную тьму, куда-то глубоко вниз, опускал дрожащими, холодными руками. А в глазах и где-то там — за глазами, в темном, горячем мозгу, все росла нестерпимая боль, все глубже рылась корнями и распирала череп.

Потом на один миг, казалось, рассеялась тьма и все задохнулось — когда выпустил нитку из рук. И опять захлопнулась холодная, мраморно-черная плита и проглотила все.

Письма упали. Их найдут. Было это теперь все равно. Самое страшное уже случилось.

Всю ночь он не спал.

* * *

Пришло серое, неживое утро, а он все лежал с раскрытыми, неподвижными глазами. Вдруг лампочка загорелась и смотрела, бледная и измученная. Медленно повернулся к ней.

Потом люди пришли — четверо, и наполнили камеру шумом и говором, незнакомым и новым. И казалось, они двигались неслышно, и неслышно раскрывали рты, и махали руками, а звуки жили отдельно и все были в одном месте — точно выходили из какой-то трещины в своде. Было все, точно во сне.

Искали везде. Наклонялись и поднимались — неслышно — и бросали белье, и потом сидели по углам, и тогда не было видно их лиц. Брали книги и высоко поднимали их, перелистывались неслышно страницы и пестрели, белые, в глазах — это было неприятно. Прятались под кровать.

И потом вдруг грубо перевернули его и поставили на ноги, и ползали по телу грязными руками, холодные руки клали на одно место и долго держали так зачем-то. Потом двигались дальше и сжимали его со смехом.

Смеялся один из них и говорил наглые, грубые, бьющие в мозг слова о какой-то девушке — и потом все смеялись грязным, ползающим по телу смехом.

Острой, холодной льдинкой упала в раскаленном мозгу мысль: это — знакомое, это — он слышал.

И вдруг ужас перед сделанным захватил дыхание. Это были — его слова! Это — он писал! Нашли письмо — и повторяют его слова — о Лельке. Из письма, из письма...

А хохот еще дрожал, и издевался, и плевал — в его Лельку. Туманом застлало глаза.

Размахнулся и ударил одного — в лицо, в смех. Голова назад покачнулась — ах, хорошо.

Упало что-то горячее на грудь и на темя — сзади. И потом поплыло в красном, жарком тумане. Мысли утонули в черном...

* * *

Темно на дне...

И вдруг — точно повернули внутри кнопку электрической лампы. Очнулся — и все случившееся вздрогнуло и проснулось в сознании и стало понятным и болезненно-ясным — точно вырезанное из мрака молнией.

Одинокая и резкая, как шпиг колокольни в грозу, забелелась на темном и кольнула мысль.

— Значит, конец.

Дрожь пробежала, будто что-то тысяченогое, по телу.

Потом зазвучал вдали неясно и чуть слышно какой-то вопрос — и Белов закрылся от него. А он летел с бешеной быстротой, точно одинокий локомотив, и бил уже в набат, мчался и потрясал воздух, и грозился свалить.

Поднялся Белов и пошел, легкий, качающийся, точно он не имел весу.

Стоял у трубы и уже знал в глубине он, что нет Тифлеева, и зарывал эту мысль старательно и хотел не смотреть на нее.

— Тук-тук-тук, — сверкнули звуки и тысячу видений осветили в душе.

Страшно было верить сразу. Еще постучал.

И поднялось молчание снизу, выросло и расширилось. И стало огромное, как мир, как ужас.

Месяц смотрит бледными глазами и молчит. Темнота стала мертвой и холодной. Вздрогнули и замерли стены.

И внутри все замолкло, и стало темно и холодно.

— Динь-дон! — прозвонили тюремные часы и застыли.

И опять раздвинуло молчание свои черные, мертвые крылья и обняло ими все.

VIII

Небо в отчаянии закрыло лицо темными тучами. Тяжелые, теснятся они и подступают, как комок слез к горлу, и каждый миг готовы прорваться рыданиями.

Нет сил больше смотреть на мертвый пустой двор. Хочется броситься на эти остатки снега, упасть ничком и рыдать без конца...

А колокола все звонят, все звонят. Тусклыми, серыми змейками заползают в мозг звуки и мечутся в тоске, перегрызают мысли и терзают: ведь надо думать, надо думать.

Сильнее сжимал он голову руками и качался. И мысли качались и бились с болью в виски.

Потом зловещим заревом вспыхивало и освещалось все:

— А если нашли у Тифлеева ее адрес? И если уже взяли ее теперь? — Пылали щеки, и сухо становилось во рту, и дрожали колени.

И вдруг подумал — точно толкнули сзади.

— Нужно посмотреть в зеркало.

Оттуда глянуло сначала что-то серое и безжизненное и странно глубокое — непонятный, страшный мир. А потом он узнал себя. Глаза ушли вглубь — будто наступало на них, все ближе, страшное — и они пригнулись, притаились и прыгнут сейчас с криком ужаса. А лицо было желтое и плоское, с кровоподтеками и синими пятнами — точно смерть уже грызла изнутри, как у трупа.

И жестоко, с ненавистью сказал себе:

— За это было любить его? За такую красоту и силу?

— Или, может быть, в нем — сила ума и пылающая сила слова?

И со страданием ответил кому-то холодному, безжалостно спрашивающему, кому он не смел говорить ложь:

— Нет. Все в нем обыкновенное.

И это простое слово звучало страшное, безнадежное, как приговор. Скрежетала зубами ненависть к себе, казался он себе маленьким, ничтожным, которого хотелось сбросить, прибить. А тот, кому отвечал он, вставал еще суровее и неумолимее и точно давил книзу тяжелой рукой. Из-под тяжести выскользнула и тускло блеснула мысль, пригнувшаяся и жалкая, просящая, как нищая.

— А мои страдания? Разве они ничего не стоят?

И с усилием ворочая мыслями, точно камнями, он ответил:

— Нет. За одни страдания нельзя любить. Ведь больные отвратительными болезнями, трусы, самые гнусные предатели... их страдания — больше всех. И тем больше, чем гнуснее и отвратительнее они...

И опять смешались все мысли, забывал он, о чем думал, и мучился этим, и спрашивал:

— Ну так что же? Ну так что же?

Сбрасывал с головы подушку, приподнимался на кровати и качался, весь белый, как в саване.

Опускалась мысль о смерти, понятная и близкая.

Метался, и хотел забыться и отвернуться, и этого нельзя было сделать: точно падали куда-то без конца мысли и видели перед собой только дно, конец, ужас. И все быстро мелькало мимо — как стены, пустое и гладкое, и нельзя было удержаться.

Гнилым, чахлым деревом трусливо высунулась мысль — ухватилась за нее, на миг, перестал падать.

— А жить для борьбы с ними, для мести?

И обломилась сразу: заглянул он в себя и не увидел уже ни злобы, ни сил, ни воли. Уже умерло все, и трусливо шевелилась и хотела лгать полураздавленная жизнь, отвратительная и мертвая, как гнилая рана.

И он отбросил ее ложь и опять стал падать вниз, вниз.

Кружилась голова. Хотелось сесть и ждать, не двигаясь, того страшного, что должно было прийти и обрушиться.

Мучила жажда — точно в горле был насыпан сухой горячий песок.

* * *

За стенами холодная тьма дрожит и слушает: ничего не слышно снаружи — только вода булькает в трубах.

Это ворчит чудовище из железа и камня, и грызет свои жертвы, чмокает и сосет потихоньку.

А они — живые еще. И бьются о стены плавающей головой и бледными руками. Уходят далеко вглубь глаза и обводятся черными кругами, и делаются громадными. И протягивают все руки в темноту, напитанную их стонами, и молят, и ждут: неужели никто не услышит?

Никого. Одна ночь слушает и молчит.

А потом, когда уже замолкли все они и лежат неподвижно, и кажется, что умерли — она бледнеет и двигается беспокойно.

Бледнеет и обливается холодным потом — точно приняла в себя все муки, какие видела.

Качается мрачная ночь из стороны в сторону и в клубки собирает свое тело — корчится. Шевелится мрак и со стонами раздвигаются его недра, бледный рассвет рождается из них, заливаются кровью.

Из темных углов, полных мохнатой пыли, ползут душевные сны.

И кажется ему, что он стоит на пустынном берегу.

Не видно ничего — ни впереди, ни сзади, ни по сторонам — не видно ничего, кроме одного только тумана и раскрытой пасти волн у ног.

Он не темный туман — он светлый, и еще страшней от этого:

светлый — он видит все, и каждую мысль хищно сторожит он. Серый, мертвый, удушливый, как тюремные стены, — туман.

И нет от него спасенья, и некуда бежать: ведь никого кругом, кроме серого тумана и молчанья могилы, а волны в этом молчаньи бьются, как мысли, и нет им выхода, и звуки их — неживые.

В них спасенье от тумана, в тумане — от них.

С болезненным любопытством и с ощущением чего-то постороннего под ложечкой еще раз заглянул в суровые, зеленые волны.

Точно огромная глыба льда, вырос внутри ужас. Медленно, с трудом Белов вытянул руки и вздрогнул всем телом.

* * *

Один миг радости: все это сон. Живет еще тело, и чувствует он, как двигаются руки и ноги и смотрят глаза. Во сне это было — страшный туман и смерть.

Ласковый день наклонился над ним и осыпает его молодыми весенними лучами — точно цветами. Резвые и бодрые, раздуманные утренним холодом, прибежали звуки со двора и толкают шутя друг друга. Это дрова пилят внизу, и смеются там, и голуби воркуют.

И он видит это и слышит!

А вот на крышах солнечные лучи целуются со снежинками, родившимися ночью — невинными и нежными. И радостно умирают снежинки под весенними лучами, и новые отдают свое тело их любви — и рядом идут смерть и любовь.

— Вот и жизнь. Вот и весна, — подумал он.

И глянул со страхом внутрь себя: никакого эха не дала там мысль — точно была там глухая, мертвая стена.

Искал смысла слов — и не находил. И стояли они перед ним пустые и прозрачные, как хрусталь, с которого слетели переливавшиеся в нем и волновавшие его солнечные лучи.

Стоял у окна. Мимо ушей ветер шелестел, и голова кружилась, была странно-легкая — от пустых и прозрачных мыслей. И оттого, что смотрел он в эту пустоту, и оттого, что шелестел ветер, казалось, что нет у него тела, и поднимается он вверх и видит внизу себя: стоит, прислонился к стене, оборванный и бледный.

И было странно, что умер или девался неизвестно куда гимназист Белов, розовый и веселый, молившийся Богу и боявшийся Его, и умер студент Белов, сильный и молодой, любивший жизнь и борьбу. И казалось бессмысленным и странным, что теперь этот бледный и обросший человек был тоже Белов, и что заперт он в вонючей комнате и думает о смерти. И нельзя было этому верить.

Долго стоял и смотрел в дверь — в одну точку. Не хотелось сдвинуть взгляд и переломить его — прямой, неподвижный.

И вдруг железная дверь стала сразу живой и страшной. Раскрыла

свой глаз — с визгом, будто скрипнула зубами и злобно выдвинула вперед нижнюю челюсть.

Раскрыла свой глаз и смотрела пристальным, длинным, как бесконечная проволока, взглядом. Извивался и острыми крючками цеплял кровавые раны. Переплетающимися горячими тенями и дикими стонами наполнился мозг.

Стоял в одной рубашке, с безумным взглядом.

Пробежало что-то в груди — и вырвалось криком — точно брызнуло кровью.

Добежал до кровати. Забился в подушку.

Целый день лежал. Точно на дне, придавленный глубиной бездны. И там не было ни времени, ни пространства, ни света, ни воздуха, ни мыслей.

Не смел пошевелинуться, ни встать, когда принесли обед, ни выпить воды, чтобы утолить жажду.

Не было времени. И не знал, сколько лежал так — час, три, пять. Когда остановились около его двери шаги, и он открыл глаза — ясно, светлого дня уже не было.

Отворили двери, чтобы вести его на прогулку.

— Пора? — сказал он вслух, и показалось, что это кто-то другой сказал незнакомым, хриплым голосом.

И от этого слова передвинулось в сторону сердце, и точно разорвало что-то внутри и ударяло в рану больно и неровно. И эта боль — где-то внутри под ложечкой — была странно-знакомая и недавняя.

Не мог никак вспомнить, когда это было.

— Да когда же? Да когда же?

Несколько мгновений стоял на месте и мучился, и потом вспомнил, что это было во сне.

Надел пальто и шляпу и плотно застегнулся. Отворил зачем-то фортку и двинулся вперед в темноту.

Ноги были чужие, и весь он был страшно тяжелый — и гнулись оттого, и дрожали колени.

А потом дрожь побежала выше — по спине, и по животу, и по груди. Точно замерзло все снизу в душе, и было мертво — и только на поверхности дрожала рябь, бледная и холодная.

И подумал он:

— Я дрожу.

Он прикусил губы и сжал в кармане руку нарочно, чтобы сделать себе больно. Нашупал что-то и вытащил. Платок. Пахнуло вдруг знакомым запахом, острой яркой болью ударило в голову.

И опять все погасло, и потемнело в глазах. И ни одной мысли не родилось уже более.

До угла галереи, до поворота оставалось восемь шагов.

Все быстрее мелькали мимо темные ниши камер, и хотелось за-

биться в мягкую темноту и закрыть голову руками — и нельзя было: точно толкало сзади, и все катился он вниз.

На углу повернул назад тот, что шел сзади и гремел ключами — пошел отпирать другую камеру.

Белов был теперь один. Остановился и заглянул вниз.

Там светилась тускло лампа — открыл кто-то мертвый глаз и смотрел нетерпеливо, как будто ждал.

Тихо — точно сейчас только с шумом и с грохотом рухнуло огромное здание, и ничего нет уже, и только пыль беззвучно летит в воздух.

И отвечая неумолимому, страшному, сказал себе:

— Когда тот щелкнет замком.

И перегнулся вниз. Надвинул шляпу — нужно было, чтобы она не упала.

Вдруг вырезался из тьмы весь его вчерашний сон. И когда звякнул замок, он почувствовал в груди тот же самый странный и страшный кусок льда. Все рос и наполнял его дрожью с ног до головы.

Глотнул, задыхаясь, воздуха и вытянул вперед руки.

Точно сверкающий нож, воткнулся острый крик в мягкое тело тьмы. В одном безумном вопле слился весь мир и провалился с треском в красном пламени.

* * *

Череп весь треснул и залился кровью. И из черной дыры белый, шевелящийся, живой выползал мозг.

И все сбежавшиеся стояли кругом и боялись подойти и взяться: мозг должен был вывалиться и упасть на пол. Боялись этого.

1907

ДЕВУШКА

Желтый старый дом на пустынной улице стоит, как осеннее голое дерево с черными ветками, вырезанными на прозрачном вечернем небе. Темные, пустые окна — без занавесок — закрыты всегда. Одно окно, с краю, забито досками.

Ночью выступают и мерцают звезды. Между пустыми, тяжелыми скалами тьмы вьется ветер вверху. На крыше скрипит пронзительно ржавая флюгарка. Идут мимо, услышат — вздрагивают, поднимают вверх головы: там темные четырехугольники окон, как портреты умерших стоят, а в одном окне шевелится синий язычок свечи с тусклым ликом вокруг. Посмотрят, покачают головой, идут мимо.

Девушка в старом доме слушает шорох шагов их и думает:

«Не он ли? Когда же придет он, неведомый, милый, прижмет, унесет с собой? Или никогда не придет?»

И опять всю ночь держит на коленях книгу и читает чужие слова. Чей-то прозрачный и тусклый лик колеблется вокруг свечки.

К утру свечку тушат, и черный крючок фитиля, недобрый, ночной, согнувшись, смотрит навстречу дню.

На черном крыльце, на ступеньках, старая Кузьминишна сидит, а рядом с ней барышня, Вера. Раскрыла старуха коробочки жестяные от чаю, а в них деревяшки пустые из-под катушек, большие пуговицы старомодные от дипломатов, аграманты, бархатные лоскутки. Раскрыла, перебирает, что-то сама с собой говорит.

— Кузьминишна, никак уж стучат, — говорит Вера.

— И то, и то, барышня.

Спотыкаясь, идет Кузьминишна долго. Спрашивает: — кто там? Приоткрывает чуть-чуть калитку, несет газету барышне, мелкими шажками по заросшему двору идет. Куры кудахчут где-то.

— Ничего больше?

— Нет, ничего. И неоткуда.

Уходит Вера в дом, сидит у окна, читает газету, как сказку, которой не верит.

Вот двое, девятнадцати лет и двадцати лет, любили друг друга и вместе умерли в поцелуях. Далеко где-то большие города, и люди бегут, говорят друг с другом. А может быть, ничего этого нет, есть только их дом старый, с Кузьминишной, с матерью, с ползучей дневной тишиной и со странной жизнью ночью.

Сидит Вера у окна. Лучи выются в косых, падающих столбах пылинок. Что-то знакомое в этом.

«Да. Это в библиотеке всегда так бывает, — думает Вера. — Все зеленоватое там, темные шкафы — и сквозь узкие окна два таких столба мерцают. Будто это подводное царство. И он стоит светлый, как царь сказок. Золотые волосики на бороде завиваются, яркие, раскрытые губы. И все книги чудесные — в его власти, и все люди, какие придут...»

— Нет, нет, — говорит потом себе Вера. — Глупо о нем думать. Он оттуда, из большого города. Студент. Умные они все и смелые. А я ничего не умею. На что я ему. Приедет — уедет.

И опять смотрит Вера без мысли в окно, на пустой двор. Желтеет под солнцем высокий бурьян у окна. Верхушки высохли, шуршат, и осыпается книзу горячая пыль.

Вот — бредет из погреба в дом Кузьминишна мелкими шажками, сама с собой говорит. Кошка за нею крадется неслышно по теплым камням. Куры кудахчут где-то.

В тишине хлопнула кухонную дверь, другою, в зал вошла. Сморщенная, темная, на фоне белой двери стоит, как потрескавшаяся икона в углу заброшенной церкви. Ах, начнет теперь свое старое говорить — без конца.

— И то, и то, барышня. И я говорю — ох, время идет. А меня милый все ждет — не дождется. Все во сне приходит...

Сдвигаются у Веры худенькие плечи и руки, тоскуя, и так болезненно хочется, чтобы кто-нибудь смял их, сжал, чтобы захрустело.

«Ах, время идет. Так и не узнаешь никогда, что это такое».

«Да, но ведь это-то правда, это правда — прошлый раз он в библиотеке поклонился ей, как знакомый. Глаза ласковые у него, и маленькие волосики на бороде, все золотые, в лучах. Вот где-нибудь тут, внизу, на левой щеке почувствовать их, мягкие шекочущие...»

А Кузьминишна все стоит у белой двери, все говорит об одном. И уже не знает, забыла, где правда и где темные забытые сны.

— Кузьминишна, — говорит Вера, — ты посиди в спальне. Я сейчас приду. Я только в библиотеку. А если проснется, ты скажи что-нибудь. Скажи. Ну, я же приду сейчас.

Из старого шкафа у стены взяла Вера самое любимое, розовато-лиловое платье. Стоит перед зеркалом — потускневшее; скрало оно все морщинки и говорит: — ведь ты еще так молода, и к черным волосам так это платье идет.

Улыбается Вера. Глаза загораются далеким блеском. Опускает ниже сорочку, и сквозь кружево смотрит жадное, смуглое тело. Это для него.

«А другие?» — думает Вера. И прячет, опять закрывает загорающееся стыдом, не видевшее света тело.

Секунду думает. Опять опускает сорочку и стоит, часто дыша. Шепчет, странно смеясь: — мой милый, мой милый.

Надевает теперь белую шляпу — и под белыми цветами резко выделяются в зеркало черные волосы, как опрокинувшийся ворон на белом снегу.

Мчится сердце — вперед, вперед, и сжимается — на краю пропасти — когда открывается и захлопывается медленно тяжелая дверь библиотеки.

За своим прилавком он — так далеко, и около него все чужие. И не видит ее, не кланяется он сегодня.

«Ну, посмотри же, посмотри... Нет».

«Ах, и еще нужно ждать. Эта противная старуха впереди, в смятой шляпе и с белым зонтиком, опущенным книзу. Должно быть не закрывается. Да поскорее же, ну».

У прилавка Вера перекладывает книги из одной руки в другую, спрятала глаза под шляпой, бьется так сердце. И вдруг одна книга падает из рук со стуком, с таким стуком. Ах, все теперь на нее смотрят.

Он поднимает книгу, подает Вере — с улыбкой.

Но зачем у нее так дрожат руки. Ради бога, ради бога.

— Ах, вы весьма любезны, — говорит через секунду Вера чужим, спокойным голосом.

— Ну чего там весьма, — улыбается он: — «Странная девушка».

«Да, зачем весьма? — думает мучительно Вера. — Это же смешно, смешно. Вон, улыбается он. И все смотрят».

Бледнеет Вера, нагибается, открывает — закрывает книгу.

— Да что с вами?

Сверху говорит он, тихо — точно они двое, ласково — будто гладит ее по голове.

— Нет, нет, ничего.

Уж прошло все. И хочется уж громко смеяться и смотреть на него, слушать. И никого нет кругом.

Он опять наклоняется и делает свои глаза — большого ребенка — смешными и важными.

«Да милый же, милый», — шепчет неслышно Вера. Серая тужурка у него распаивается, и под ней старенькая рубашка синяя, с прожженной дырочкой.

Радостными уколами бьется сердце у Веры. Отходит, нагибается — записать книгу, жадно опирается грудью о стол. Пишет — ах, да не то, кажется? Все равно...

Но с кем он говорит там? И таким же, как с ней, тихим голосом, и та касается его своей серой шляпой. Как смеет?

Сходятся и расходятся прозрачные пятна в глазах. Только бы дописать.

Со сжатыми губами Вера подходит, прячет дрожь внутри, говорит с веселой улыбкой — вот услышишь сейчас, ты, в серой шляпе.

— Вот листок. Так до свиданья, значит, до завтра.

Серая шляпа поднимается изумленно, смотрит.

— Завтра? Ах да, на гулянье. Пожалуй, пожалуй. Приду вероятно. До свиданья.

«Ага, — говорит Вера, — слышишь?» И уходит, радостная. Несет с собой его книги, его теплый голос, и мягкие волосики на бороде.

А он нагибается к серой шляпе, смеются оба и в блестящих от любви глазах радостно видят друг друга. Потом говорит он:

— Нет, пожалуй, это вовсе не смешно. Подожди, не надо смеяться.

* * *

К вечеру голубеют и растут тени. Оседает горячая пыль. Колеса далеко прогрохочут по камням и спешат затихнуть.

В старом доме все оплетается тревожной сумеречной паутиной. Белые двери и белые переплеты окон теряют что-то дневное и шевелятся беспокойно. Ржавая флюгарка скрипит на крыше. Ночь крадется.

Мать зовет:

— Вера, Вера, да иди же. Я уже свечку зажгла.

Закрыли дверь в спальню. В две железных петли просунули железный засов — отгородились от пустого зала.

У изголовья, нагнувшись перед свечкой, сидит Вера и читает. Непонятно, неслышно, где-то извне, бегут чужие слова, как за окном снежинки. А внутри — своя жизнь. С сладкой болью сердце замирает, а потом бьется громко, страшно громко: тук-тик, тук-тик. Завтра. Где-нибудь в шелестящей тени деревьев... Тук-тик, тук-тик.

На минуту перестает Вера читать, опускает книгу на колени.

Будет так. Она прижмется к нему изо всех сил, чтобы стиснулась, смялась вся грудь. И зубами вопьется, чтобы остались следы.

— Думаешь? О чем думаешь? — говорит мать.

Вера вздрагивает. С белой подушки приникли к ней неподвижно глаза — точно шупают скелет под живым еще телом.

«А вдруг она знает?» — думает Вера и холодеет. И опять читает чужие слова, а внутри растет темнота — холодная, злая.

Тяжелыми скалами ночь громоздится над домом все выше, и мимо нее бегут звезды. Мать лежит неподвижно, как мертвая. И кажется Вере, что она одна, и страшно читать вслух в огромной пустой комнате с тикающими часами.

— Я устала. Я подожду, — говорит Вера и опускает книгу.

Мать открывает глаза и смотрит на стену, в темное зеркало, где колеблется синим призраком свечка. Длинные, белые на одеяле пальцы двигаются, двигаются, невидимую ткань прядут.

И вдруг останавливаются. Что там такое? Послушай? В зале? Или это там, в запертой комнате?

В пустом зале по углам ночные шорохи крыльями шелестят, со-

бираются мыши и шепчут: шу-шу-шу. Уговорились и ползут все в запертую комнату и танцуют по струнам старого рояля. Сыплется пыль со струн, и рояль тихонько играет.

А на белой подушке все неистовее мечутся безумные глаза. Вера сидит нагнувшись, неподвижная, белая...

* * *

И такой измученный встает день, и так пылает на небе солнце, и жадно ждет вечера.

В чуткой сумеречной тишине громко хлопают где-то калитки, пустеют дома, уже все уходят.

— Да нет же, нет. Это невысказано, — говорит Вера, и не верит, и знает уже, что пойдет.

С спутанными мыслями встает и на цыпочках идет в спальню за платьем. Часы в тишине беспокойно подпрыгивают — тикают.

— Кто тут? — говорит мать.

Губы у Веры высыхают в секунду. — «Как же теперь? Идти? Не идти? Да нет же, нельзя — он сказал».

Наклоняется к матери и говорит — точно злобно вколачивает острые гвозди — слова.

— Спи-спи. Тебе надо спать. Еще рано-рано-рано. Спи.

Тускло сверкает поднятый к глазам стакан. Наливает капли. Нет, мало. Еще, еще, без счета. Спи крепче.

Играет вдали музыка. Ветер вечерний поднимает белую шляпу у Веры, и она быстро идет, изгибаясь навстречу ветру жадным змеиным телом. Скорее, скорее.

Вот и сад. Качаются над головой, как пьяные, томительные, блестящие фонари. А под фонарями качаются внизу ненавидимые чужие лица. И нет его, и нет его — нигде.

Толстые, медленные господа с кольцами — пепел стряхивают с сигар. Две черномазых вертлявых девчонки с косичками — где-то внизу шныряют, как ящерицы. Кавалеры из казначейства в бумажных воротничках — подталкивают локтями, оглядываются:

— Барышня, ждешь кого-нибудь изволите?

Сжимается Вера, встает с одинокой лавочки, смешалась со всеми. И опять толпа несет ее. Задыхается она и на цыпочках поднимается, и ищет его: — все нет.

А небо все ниже наклоняется, и пересыпаются звезды. Мужчины касаются подруг волосами, тихо говорят что-то, уходят уже с ними под темные, шепчущие арки деревьев. Вера слушает, и от шепота бегут горячие мурашки по телу.

Маленькие черные музыканты в белых воротничках вдруг схватывают трубы и скрипки и играют что-то дрожащее и острое, как

луч, падающий на белый горячий песок. Все быстрее двигают руками, спешат — уже скоро все кончится.

В беспокойном мигающем свете, по цветнику, кружит Вера. Тускло смотрят шары. Пахнет цветами остро и жарко.

— Не пришел, не пришел, — говорит Вера. — Все кончено. — Идти домой, и опять — мать...

И вдруг остановилась Вера, набравши воздуха, и не может вздохнуть:

— А серая шляпа? А если он тут и сидит где-нибудь в темной аллее с девушкой в серой шляпе?

Быстро идет Вера назад, и песок злобно скрипит — будто зубами.

На горке в освещенной беседке последний раз музыканты играют — и в белом облаке света прыгают колючие точки.

Аллея — далекая. Под темными арками — плотно прижавшиеся лица и ноги. Вера наклоняется к ним, смотрит в чужие лица и говорит, сжимая зубы:

— Ах, извините. Я ошиблась.

Ага-га. Отскочили! И ей хочется злобно смеяться. А потом вся вспыхивает и думает, пугаясь: «Ах, что я делаю, что я делаю, сошла с ума».

Низко нагибает голову и бежит, и чьи-то ноги прямо перед своими видит, кого-то грудью толкает. Нужно сказать: — простите. Но если набрать воздуха и вздохнуть — задрожешь и закричишь пронзительно.

А он берет ее за руку и говорит сверху откуда-то:

— Постойте, да это же вы? Вы одна, вы не узнаете меня?

Боже мой, — он. Обнять его, жадно прижаться, пить его дыхание...

Вера стоит секунду с кружащейся головой и потом говорит:

— Ах, это вы? Вот не ожидала вас встретить. Некогда было — только пришла.

Протянула дрожащую руку, закрылась тусклой, как месяц, улыбкой.

Ах, это милая, печальная Вера... С нежной жалостью берет ее под руку.

Собрался весь мир и замер сладко в том месте, где лежат его пальцы. Идет. Вера с закрытыми глазами.

— Послушайте, — говорит она. — Давайте сядем. Я шла — тут все на скамейках сидели влюбленные. Ну, нарочно и мы с вами, нарочно — хотите?

Перегибается к нему гибким телом, и сладким ядом глаз туманит его. В дрожащую, мягкую грудь погружается его локоть и сам он тонет в чем-то мягком и жарком, опускается на скамью послушно.

Что-то он говорит. Кажется, о книгах. Получены новые книги...

— Какие книги — расскажите. Я к вам приду за книгами... — За-

бывает, что сказала, и не слушает его слов, — лишь бы слышать его, как музыку, лишь бы говорил что-нибудь.

Рядом, близко, пахнут цветы — остро и сладко. Вдыхает их Вера и говорит:

— Слышите запах? Это цветы ласкают друг друга и умирают, и это запах их ласк.

Вера чувствует его руками и удерживать.

— Какой стыд, какой стыд, — говорит себе Вера. — Он смотрит!

И с ужасом понимает: хочется схватить и разорвать кружева на груди и платье, и все отдать ему: смотри — вот я — одному тебе... целуй.

А он молчит. Тяжелую голову опустил на руку.

Вот-вот, что-то гаснет и падает. Нужно схватить, удержать. Сказать ему что-то, скорее, да скорей же.

Зубы у Веры дрожат со стуком, и она говорит:

— Ну, что ж вы так сидите? Занимайте же меня.

И холодеет потом вся. Это, это — она сказала? И кажется — сейчас сорвется она в яму, и чтобы не упасть, надо ухватиться руками за воздух.

Вера машет руками и хохочет — громко и странно. А он пристально смотрит на нее и говорит.

— Вот вы смеетесь, Вера. А мне кажется, вам вовсе не весело. И у вас какое-то горе есть.

Вера опять машет руками и говорит со смехом:

— Да нет же. Какое горе. Вы такой интересный кавалер — мне весело с вами.

Нетерпеливо шевелится он, и такой чужой теперь голос:

— Не поймешь вас. Вы такая... какая-то... Трудно говорить с вами.

Назад откидывается, шуршит в траве за скамейкой, ищет фуражку. Уж лучше уйти поскорей — пока это прошло. А то вот уж и музыканты уходят.

Вера кричит себе: не хочу, не хочу, и ломает руки. Поправляет потом шляпу и говорит:

— Сегодня холодная ночь — простудишься, пора идти.

Гаснут дальние фонари. Цветы неистовой пахнут — им еще минуточку жить. И кажется — вот еще раз передвинется месяц, и они дохнут приторным дыханием трупов.

Вера набирает воздуха и говорит беззвучным, скрытым тьмою, голосом:

— Дайте же мне руку.

Берет его руку и слышит в ней чуть заметную ласку. И вдруг медленно, не зная зачем, поднимает эту руку к губам. А в конце темной дорожки стоит прежняя Вера, машет руками в безумном ужасе и кричит ей:

— Что ты делаешь, что ты делаешь?

Поднимает руку к губам и целует вдруг — быстро и жадно.

Потом сползает всем телом со скамьи на песок, обнимает колени его, прижимается грудью и шепчет, задыхаясь:

— Я никогда не целовала, не целовала.

Нет, что же с ней делать? Мечется он и дрожащими руками хватается за голову.

— Вера, я не понимаю. Вера — простите. Я уйду сейчас. Ради бога.

Вырывает ноги из цепких рук, носком сапога что-то мягкое задевает. Поспешно идет, натываясь на ползущие внизу корни деревьев. Вдруг останавливается, загораются лицо и уши.

— Да ведь, кажется, я ее ударил ногой в грудь.

И бежит назад. Вон, все стоит она на коленях, прижимается к лавке лицом.

К ней наклоняется он, гладит голову, пальцы погружает во влагу слез.

— Вера, голубчик. Ну, простите, ради бога. Я же не уйду. Только не надо, только не надо. Ну, встаньте, пойдете отсюда. Ведь могут прийти.

Вера затихает, поднимается послушно, идет послушно по темному песку аллеи. Куда-то идет — не знает.

«Да вот уже дом с круглым балкончиком и... Домой. Что там? А если проснется мать? А если не проснется?»

Отмахивается: нет, забыть об этом. Нарочно говорит себе:

— А у него дрожали руки. Да, дрожали. Милые волосики на бороде — мои, мои. Я сошла с ума, я сошла с ума.

Идут по пустой лунной улице. По белым плитам бегут впереди две черные тени. Тревожно изламываются, взбираются на белые папеты домов и мерцают оттуда: не ходи, не ходи.

Уже поздно: пришли. Громко стучит сердце у Веры — будто кто идет одиноко по улице лунной и звонкой. Оборачивается Вера назад, лицом к луне и к нему:

— Вот — пришли. Там темно — это ничего. Мы зажжем огонь. Вы ведь зайдете. Я одна живу, никого нет.

Над двором стоит глухой лунный свет.

Шуршит под ногами сухой бурьян. Направо, посредине двора, вбит кол, низкий — так, до пояса. Зачем бы он? И тень от него падает поперек дороги.

— Да идите же, идите же, — говорит Вера. Чуть заметно к нему прижимается, отворяет дверь. Сердце мчится вперед — там что-то неисправимое, огненное, желанное. Задыхаясь, говорит ему:

— Мы тихонько будем, мы неслышно, как тени. Ведь правда?

И он отвечает странно-послушным Вере и похожим шепотом:

— Мы тихонько будем, мы тихонько будем.

Берет ее под руку, идет с нею в залу по скрипящим чуть-чуть половицам. Пусто и тихо в зале.

Вздрагивает Вера, отворачивается от двери в спальню: пусть где-то сзади будет все это. А теперь — скорее к нему.

— Вот мой любимый диван, — говорит Вера. — Идите, садитесь.

Месяц бежит за нею к дивану и рядом садится — белой согнутой тенью, с дрожащей головой — как у матери.

— Тут слишком пусто и слишком много луны, — говорит он. — Не хочется быть одному. Дайте-ка руку. Посидим так немного, и я уйду.

Садится он на диван рядом с белой тенью и берет за руку Веру. И они сидят в тишине трое, долго.

Нет, так странно сидеть — молча. Она, как безумная, сверкает и надвигается жарким дыханьем. Надо что-нибудь сказать ей, да. И говорит:

— Вера, подождите. У вас гребешки сейчас выпадут.

— Выпадут, выпадут? — говорит Вера. Чему-то улыбается, наклоняясь к нему, и нежная ложбинка на верхней губе становится у ней еще глубже.

— Вы боитесь — выпадут? — говорит Вера. И вдруг вынимает гребешки и со стуком бросает, и душной волной разливаются волосы.

Весело, безумно и горячо внутри. Теперь Вера может все. Вот — захочет и закричит громко, и будет говорить все, что думает. Или — вот: разденется и будет стоять перед ним. Убьет мать.

Кладет она руки на плечи к нему, громко смеется и говорит своими губами, раскрытыми, как сердце цветка:

— Ну, а теперь?

И кладет свои ноги к нему на колени. Вся — у него, прижалась, обвилась гибкими руками.

Он слышит, как дрожит в нем горячее эхо, и говорит, обрываясь:

— Вера, сумасшедшая, Вера же.

А Вера тонкими, горячими пальцами схватывает его за лицо и за шею, впивается поцелуем — так, что своими зубами касается его зубов, и зубы скрипят. Скорее — пить из него жизнь. Может быть — минуты остались.

Куда-то пригибает она его голову — и он послушно наклоняется, чтобы прижаться щекой к горячей голой руке. Близко совсем уже е дыхание, душное и острое, как запах цветов в темной аллее — все ближе...

Согнутой тенью старый месяц сидит в тишине на диване. Потом нагибается, слушает: где-то внизу чуть видные вырастают звуки, шепчутся по углам: шу-шу-шу. Ах, да это мыши. Шепчутся — уговорились, ползут. Крадутся по струнам в старом рояле, вздрагивают струны, и сыплется с них пыль.

Просыпается кто-то в темной спальне. Падает на пол коробка спичек. Чуть-чуть старые половицы скрипят.

Вера слышит — не хочет слышать. Нет, нет, — показалось только, и все.

Свою руку просовывает к нему в рукав и ищет там его тело, и с безумной злобой страсти сжимает.

А он поднимает голову и говорит:

— Нет, нет, погоди. Что там такое?

И опять падает, затопленный поцелуями.

Шаркает в спальне мать, приседает со свечкой в темных пустых углах и вздрагивает: а если увидит? Да нет, это там, в темном зале что-то. Отворяет дверь в зал и поднимает вверх и вперед свечу.

Изогнувшись, отпрянула Вера в угол дивана, словно сжалась под ударом и смотрит.

Кто-то встает с дивана. Из темной полосы переходит в светлую. Красный отблеск свечи на пуговицах тужурки, на губах, на подбородке. Медленно идет, опирается руками о стену. Скрипнула дверь.

С усилием мать открывает глаза — а вдруг увидит? — и нагибается вправо и влево со свечкой, и говорит:

— Тут кто-то был... а? Тут кто-то был?

«Не видела, не видела», — думает Вера с маленькой мигающей радостью и говорит:

— Нет, это тебе опять показалось. Нет никого.

Потом встает. Под луной голубеет тело. Шепчет она:

— Ах да, он же ушел. Он ушел.

И куда-то идет, спотыкаясь, — за ним. А мать хватает ее сухими руками, сгибается, шепчет, опутывает шепотом:

— Вера, Верочка. Постой же. Мы вместе посмотрим. Верочка, мы вместе посмотрим.

Останавливается Вера. Падают руки. Стоит секунду — и опять вспоминает: что-то случилось, страшное.

Вдруг хватает стул, стучит им об пол и кричит:

— Это — ты! Пусти, пусти меня!

Бежит мимо дивана с белой сидящей тенью. Вскидывает на окно, открывает, нагнулась.

Белые, пустые лунные плиты, и его нет. Ушел.

Сотрясается необласканное жаркое тело, и приходит безумная мысль:

— Позвать первого, кто пройдет?

Белая, стоит Вера в окне. Лунные лучи обвивают ее увядшим, неживым светом. Ползут выше, по белым карнизам, оборвались, ушли.

В пустых комнатах тихо. Около свечки в спальне — часы тикают. К утру свечку тушат, и такой душный, одинаковый, встает день. Кузьминишна, спотыкаясь, бредет по двору. Кошка за нею крадется неслышно под солнцем. Куры кудахчут где-то.

СКАЗКИ

БОГ

Было это царство богатое и древнее, славилось плодородностью женского пола и доблестью мужского. А помещалось царство в запечье у почтальона Мизюмина. И был такой таракан Сенька — смутяня и оторвяжник первейший во всем тараканьем царстве. Тараканихам от Сеньки — проходу нет; на стариков ему начихать; а в бога — не верит, говорит — нету.

— Да как же нету, бесстыжие твои глаза? Ты при свете вылезь да зеньки разинь. А то, ишь ты: не-ету...

— А что ж, и вылезу, — хорохорился Сенька.

И вылез однажды. Вылез — и ахнул: бог-то ведь есть и правда! Вот он, вот: грозный, нестерпимо-огромный, в розовой ситцевой рубашке, бог...

А бог, почтальон Мизюмин, чулок вязал: любил он этим рукоеслом позаняться в сверхурочное время. Увидал Сеньку Мизюмин — обрадовался:

— А-а, друг сердечный, таракан запечный, откуда ты, здравствуй!

Почтальону Мизюмину нынче выговориться обязательно надо, а больше, как с Сенькою, не с кем.

— Ну, брат Сенька, женюсь я. Невеста — первый сорт. Пойми ты, тараканья душа: девица — из благородных, и приданого полтораста рублей! Ох, и заживем же мы с тобой! Заживем, Сенька? А?

А Сенька от умиления глаза как вылупил — так и остался: все слова позабыл.

У Мизюмина свадьба — на Красную Горку, и заказала ему благородная невеста, чтоб до свадьбы обязательно купил себе новые калоши. А то чистый срам: уж который год носит Мизюмин отцовские кожаные скробыхалы номер четырнадцатый. И как только Мизюмин на улицу — сейчас же за ним мальчишки:

— Э! Э! Скробыхалы! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы!

Навязал Мизюмин чулок — и на Трубную пошел: чулки продать — новые калоши купить. Подвернулись Мизюмину щеглы в клетке: не щеглы — загляденье.

— Сем-ка я лучше щеглят куплю? Калоши-то еще крепкие...

Купил клетку, поднес невесте в презент:

— Вот чулки связал — продал, щеглят вам купил. Не побрезгуйте уж: от чистого сердца.

— Ка-ак? Чулки? И опять в скробыхалах? Ну, не-ет, терпенья моего больше нету. Подумать только: за чулочника замуж! Не-ет, нет, и никаких разговоров!

Прогнала Мизюмина с глаз долой. Надрызгался в трактире Мизюмин, вернулся домой пьян-пьянехонек, за стены держится...

А на стене — ждал бога таракан: Сенька: умиленно слушать, как всякий вечер, что скажет бог.

Горькими слезами хлюпал, шарил рукой по стене почтальон Мизюмин. И ненароком как-то задел пальцем Сеньку, полетел Сенька торчмя головой в тартарары в бездонное.

Очнулся: на спинке лежит. Берега — гладкие, скользкие; глубь — страшенная. Еле-еле, далеко где-й-то, потолок виден...

И взмолился Сенька своему богу:

— Вызволи, помоги, помилуй!

Нет, глубь такая — и богу, должно быть, не достать, так тут и сгинешь.

...Горькими слезами хлюпал почтальон Мизюмин, подолом розовой рубашки утирал нос.

— Сенька, Сенюшка, один ты у меня остался... И где же ты... И куда ж я тебя, милый ты мо-ой...

Нашел Сеньку Мизюмин в своем скробыхале. Пальцем выковырнул Сеньку из бездны — скрюбыхала номер четырнадцатый — и на стену посадил: ползи. Но Сенька даже и ползти не может, прямо очумел: до чего нестерпимо-велик бог, до чего милосерд, до чего могуществен!

А бог, почтальон Мизюмин, хлюпал и подолом розовой рубашки утирал нос.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Умнее Петра Петровича в целом свете нету: и все думает, и все думает, сопли распустит — и думает.

А сопли у Петра Петровича — лиловые, а происхождения Петр Петрович индейского. А жена у Петра Петровича — клюшка Аннушка, рябенная: другой месяц женаты.

И как вылупились из земли слепые еще головенки первых трав — занасестилась Аннушка. Причесываться перестала, расшершавилась — ходит и квохчет и охает, а Петр Петрович на одной ноге стоит и думает, думает: вот — яйца, с рыженькими веснушками; а не нынче-завтра из них индюшата выйдут, желтые, как одуванчик, пуховые, как одуванчик.

— Ну до чего интересно!

А рябенная Аннушка — свое бабье дело делает: в кошелке на яйцах сидит. Неделя, другая. Извелась Аннушка, не пьет — не ест, с места не сходит.

Петру Петровичу не терпится.

— Ну, как там у тебя?

Краснеет Аннушка:

— Да тепер уж, поди, как следует. Только еще пушком не обросли. Еще недельку бы надо.

— Ну-у: неделю! Так и не дожدهшься. Экие вы, бабы!

Умнее Петра Петровича в целом свете нету, и все думает, и все думает: на одну ногу станет — и думает.

И решил Петр Петрович: бабы — известно, рохли, копухи, чего на них глядеть, надо по-нашему, по индей-петушинуму.

Пришел к Аннушке — один глаз прищурен: хитрый — беда!

— Поди-ко-сь, попей, Аннушка. В лоханке — вода свежая, а я без тебя за яйцами пригляжу.

Ушла Аннушка пить, а Петр Петрович — в кошелку: кок — одно яйцо, кок — другое, кок — третье. Теплые индюшата, дышут, ей-богу! Обрадовался — вот как, и ну их из скорлупы тянуть.

Вытянул — а они страшные, голые, хлипкие, и самое, где задик, с отонком яичным срослись жилами, кровью. Отдирать стал — кишки тянутся, назад совать в скорлупу — назад не входят.

Отскочил Петр Петрович, побледнели сопли — и глядит, клюв разиня: яйца разбитые, и свесились через край желтенькие головки на нестерпимо-длинных, тоненьких шеях. И уж еле дышут.

Захлопал крыльями Петр Петрович — и скорей через забор, пока Аннушка не увидела. Бабы — они, ведь, какие: беда с ними!

ДЬЯЧОК

Слыхано ли, чтоб кто-нибудь по выигрышному билету выигрывал, да не по газете, а взаправду, так, чтоб и деньги выдали? А вот выиграл же кураповский дьячок, Роман Яковлич Носик, и вчерашнего числа получил в казначействе пять тысяч. Теперь — чисто царь: все может.

Роман Яковлич Носик — сложения деликатного, и мысли у него — деликатные, возвышенные: насчет облаков, стихов господина Лермонтова. А в кураповской церкви — милее всего дьячку Моисей на горе Синайской, в облаках алых, золотых и лилейных.

Всю ночь дьячок ворочался с боку на бок: что бы это такое ему теперь сделать? И то хорошо, и это не плохо, да надо что-нибудь такое повозвышенной. И никак не придумать.

Пошел утром в церковь, Моисею-пророку помолиться. Только увидел Роман Яковлич нестерпимую синь синайскую и на самой маковке из облаков нездешний град — сразу и осенило.

Прибежал к дьячихе:

— Ну, мать, собирайся! Нонче выезжаем.

— Да ты спятил, что ли? Куда тебя буревая несет?

А дьячок от волнения уж вовсе невнятен:

— Жа-жалаю, чтоб, значть, к-как Моисей... На горе Синайской... чтоб, значть, облака...

Ехали, ехали, текала, охала, пилила дьячка всю дорогу дьячиха. Приехали, стой: Кавказ называемый. Гора — две капли воды — Синайская, и зацепились за маковку неописанной красы облака.

Только хотел дьячок на колени пасть — глядь, стоит телега парой, на грядущке — солдат кривой:

— Пожалте, Роман Яклич, я за вами.

— Чего такое? Кто послал? Куда?

— А на маковку, в облака в самые... — и такой у кривого солдата глаз пронзительный, так насквозь и низает. Жуть, а ехать все равно надо: сел Роман Яковлич с дьячихой на телегу — и покатили.

Сорок дней — сорок ночей на маковку ехать. Дьячиха — знай себе, подзакусывает да чай с молоком пьет. А дьячок — будто к причастью, не пьет — не ест, исхудал, лицом посветлел. Уж будто видать и соборы синекупольные, и зубцы белые, и завтра Роман Яковлич, как Моисей — в облаках...

Под сороковой день ночью на постоялом лошадей кормили.

— Ну, завтра — чуть свет приедем... — и показалось, кривой солдат подмигнул: — Время есть, — может, назад повернуть?

— Что ты, кривой, Господи помилуй! На самый напоследок — да повернуть?

Закрылись веретьем да сверху армяком дьячковым, улеглись в телеге дьячок с дьячихой, погнал лошадей солдат. Дьячиха давно уж храпит, а дьячку — не до сна, сердце колотится, а нарочно глаза закрыл: потуда не откроет, покуда не осияет нестерпимая синь синайская, не запоют нездешние голоса...

И случился грех: уморился ждать, задремал дьячок, как и приехали, не учуял. Только слышит — гаркнул кривой солдат:

— Вставай, Роман Яклич, приехали!

Стал дьячок глаза разожмуривать, потихоньку-потихоньку, чтоб не ослепнуть. Раскрыл: мга, изморось, осень, слякоть...

— Ты чего ж, кривой, брешешь, чёртов сын? Пре-ехали! А облака-то где?

— А это самые облака и есть, друг ты мой Роман Яклич... — да как загогочет — и пропал, и нет никого: одна изморось, мга, туман.

ПЬЕСЫ

ОГНИ СВ. ДОМИНИКА

Историческая драма в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Граф Кристобал де-Санта-Крус.

Балтасар — его сын.

Родриго (Рюи) — его сын.

Инеса — невеста Рюи.

Диэго — мажордом.

Фра-Себастьяно — поэт.

Дама (сеньора Сан-Висенте).

Гонсалес де-Мунебрага — инквизитор.

Нотариус.

Фра-Педро } доминиканцы.

Фра-Нуньо }

Секретарь инквизиции.

Первый мастер инквизиции.

Второй мастер.

Желтый горожанин с женой.

Румяный горожанин с женой.

Первый гранд.

Второй гранд.

Король Филипп II, кавальеро и дамы, алгуасилы, служители инквизиции, еретики, монахи, народ.

Место действия: Севилья.

Время: вторая половина 16-го века.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Внутренний двор в доме Санта-Крус. Справа и слева — стены дама; узкие, глубокие ниши окон, все в плюще. На заднем плане высокая каменная ограда с зубцами; над зубцами полоса черно-синего неба, звезды. Тяжелая, обитая железом, дверь на улицу; на двери герб: крест из двух мечей, на конце одного меча сердце. Возле ramпы, справа и слева — две винтовых лестницы дома, истертые каменные ступени. Недалеко от одной из лестниц — столик с книгами и принадлежностями для письма. Посредине двора — обеденный стол. Диэго расставляет блюда — бутылки, вазы с фруктами.

Дон-Кристобал (*берет одну за другой бутылки, смотрит на свет*). А где же малага? Ай, Диэго, за эти три года ты уже успел забыть, что Рюи больше всего любит малагу. Ну, чего же стоишь и сияешь, как медный таз Алонсо-цирюльника? Рад, старик, что Рюи вернулся, а? Впрочем, я и сам, должно быть, как медный таз... Три года! Ты бы сбежал наверх, Диэго: может быть, Рюи уже пришел из собора?

Диэго. Из собора? Да он туда и не ходил.

Кристобал. Как, разве? А я думал — он вместе с Балтасаром и Инесой...

Диэго. Нет, сеньор, Рюи сказал дон-Балтасару, что он устал с дороги. Должен заметить, сеньор, что я это не одобрил: пожалуй, еще кто-нибудь скажет, что наш Рюи набрался разных мыслей в этих самых Нидерландах.

Кристобал. Ну, хотел бы я посмотреть, кто осмелится что-нибудь этакое сказать об одном из Санта-Крусов. (*Помолчав.*) Нет, а какой он стал: совсем мужчина! Ты заметил, Диэго, как он вошел: голову назад, взглянул вот так... А говорит... как говорит! Нет, в нидерландских университетах учат хорошо. Я не жалею, что послал его туда.

Диэго. А я, должен заметить, сеньор, не одобряю. Там, говорят, еретиков, что орехов в Барселоне. А у неверных, конечно, и наука неверная. Вот уж у нас в Испании, если дважды два, так спокойно можешь сказать, что это — с благословения Святой Церкви — четыре. Взять, например, вашего старшего, дон-Балтасара...

Рюи (*медленно спускается по лестнице справа, в руках у него книга, читает на ходу. Спыхватился, закрыл книгу, входит*). Как хорошо! Вино, а не воздух: пьешь и хочется все больше... А где Инеса?

Кристобал. А-а, мальчик, вот чем ты пьян? Инеса? Рыцарь, Санта-Крус, и сдался в плен... Кому же? Девочке! И не стыдно?

Рюи. Сеньор отец...

Кристобал. Ну-ну, Рюи, я шучу. Когда-то — так давно и так недавно — я ведь и сам был такой, как ты, и я помню... Что это у тебя за книжка?

Рюи (*смущенно*). Это... это так... (*Прячет книгу за спину.*) Это...

Громкий, отчетливый стук в дверь. Рюи поспешно засовывает книгу под плющ, в оконной нише. Диэго открывает дверь. Входит Балтасар.

Балтасар. Не запирай, Диэго: там Инеса и гости. (*Идет к Рюи.*) Ну, Рюи, дай обнять тебя еще раз. Я так торопился в собор — не успел даже разглядеть тебя. Да, теперь у тебя в глазах как будто... Нет, не знаю... А это... Погоди-ка, ведь это на щеке у тебя тот самый шрам! Помнишь тот наш детский турнир из-за Инесы? И еще ты боялся, что след у тебя останется на всю жизнь? Неужели...

Рюи. Да, Балтасар, это на мне твоя печать. Так и умру с ней.

Кристобал (*смотрит на сыновей, мигает*). Ну вот — оба теперь. Ну, давайте же... (*Наливает бокалы — вытирает глаза.*) Пыль — с улицы: дверь открыта...

Входит Инеса, Рюи к ней навстречу с бокалом. Становится на одно колено, целует у ней руку и подает ей бокал.

Рюи. Инеса, вам бокал — и... я просто боюсь — я расплескаюсь, перельюсь через край, так полно!

Кристобал. Инеса... Рюи... Пошли вам счастья, Святая Дева! И ты будь счастлив, Балтасар!

Балтасар берет свой бокал, смотрит на Инесу, на Рюи — ставит свой бокал обратно на стол. Входят гости... Впереди фра-Себастьяно — говорит кому-то, оборачиваясь назад.

Фра-Себастьяно. Нет, ведь это просто ужас! Говорят, что монахи из Сан-Изороро — тоже... И вот, по ночам все эти отступники от веры...

Гость. Ну, фра-Себастьяно, вы поэт, а поэты склонны... как бы это сказать...

Фра-Себастьяно. Нет, нет, уверяю вас, мне говорил сам инквизитор де-Мунебрага...

Кристобал и Балтасар идут навстречу гостям. Инеса и Рюи — в стороне, меняются незаметно бокалами и пьют, не отрывая глаз друг от друга. Слышны смешанные восклицания гостей.

Гости. Позвольте и мне, дон-Кристобал... — Нет, нет, фра-Себастьяно, тут какая-то ошибка... — Теперь, дон-Кристобал, вы можете спокойно...

Первый гранд (*второму — глядя на Инесу и Рюи*). Смотрите: сейчас во всем мире их только двое. Никого нет: только их двое.

Второй гранд. Никого нет? Сеньор, вы, по обыкновению, говорите так, что я... (*Проходят.*)

Рюи (*Инесе*). А наше Эльдорадо: вы помните, Инеса? В башне,

когда смеркалось, камни начинали шевелиться — и я спасал вас от великанов. И вот теперь бы мне каких-нибудь эльдорадских великанов, что-нибудь самое трудное для вас...

Толстый сеньор (*подходит*). Чтоб не забыть: не окажете ли вы мне, дон-Родриго, чем они там откармливают свиней? У них ведь — свиньи лучшие в мире.

Гости (*подходят*). Да, да — расскажите, расскажите нам что-нибудь!

Рюи. Свиньи? Сеньор, я крайне сожалею, но я был занят более... более необходимым: я изучал метафизику.

Толстый сеньор. Более необходимым? Что значит молодость!

Кристобал (*подходит*). А где же дон-Фернандо? Странно: он так хотел видеть Рюи — и он всегда точен, как часы. Не заболел ли? Ну что ж, я думаю, мы не будем его ждать? Прошу, сеньоры. Инеса, ты мне поможешь? (*Вместе с Инесой и частью гостей идет к столу.*)

Рюи (*взял со стола какую-то книгу, раскрыл*). Нет, вы только посмотрите! (*Смеется. Идет к большому столу, где гости, и читает.*) «О том, что есть торговля, и об искусстве тончайшем очарования покупателя. Посвящается Императрице Неба, Матери Вечного Слова, Чистейшей Деве Марии». Нет, это великолепно! (*Смеется.*)

Балтасар (*сурово*). Перестань, Рюи. Что тут смешного?

Рюи. Нет, Балтасар, ты только... О торговле — Деве Марии... Нет, не могу!

Кристобал (*с добродушной усмешкой*). Ты, Рюи, не шути с ним: ведь он у нас — ревнитель веры. Три месяца уже, как он стал el santo.

Рюи. El santo?

Кристобал. Ну да. Бедный мальчик! Чему же там вас учили в Нидерландах? Ты не понимаешь?

Рюи. Нет, сеньор отец, прошу вас извинить меня, но право же...

Кристобал. Я помню — это было очень торжественно, после мессы, собор полон рыцарей и дам. Вас было десять: не так ли, Балтасар? И каждому из десяти сеньор де-Мунебрага, инквизитор севильский, вручил вот этот белый знак. (*Показывает на грудь Балтасара.*) Тишина в соборе такая, что слышно было, как шуршали шелковые складки фиолетовой одежды де-Мунебраги. И в тишине каждый из десяти поклонялся перед алтарем — бороться с еретиками, поклялся забыть, согласно заветам Христа, об отце, о матери, о братьях, и кто бы ни были еретики — всех предавать в распоряжение Святейшей Инквизиции. Обет тяжелый, но Санта-Круссы всегда в первых рядах сражались против врагов церкви — против турок, мавров и против...

Рюи. Прошу прощения, сеньор отец. Но с маврами — Санта-Круссы, насколько знаю, сражались мечом, а не доносами. Я ушам не верю: испанский рыцарь — пойдет с доносом в инквизицию! И об этом так, вслух...

Балтасар (*с шумом отодвигает кресло, берется за шпагу*). Рюи, у тебя на щеке еще цел след от моей рапиры, и если ты...

Кристобал (*хватает его за руку*). Тише, тише! Вспомни, Балтасар, что Рюи уже три года не был в Испании и потому...

Балтасар. Там три года или не три года... Но должен же он понять, что служба инквизиции — это служба Церкви, и потому это честь для каждого из нас! (*Кулаком по столу*.) Неужели же не ясно, что убийство, ложь — все, что угодно, ради Церкви — благородней, чем благороднейший из подвигов ради сатаны и его слуг-еретиков?

Толстый сеньор (*сидел рядом с Рюи — теперь предусмотрительно отошел в сторону вместе с женой*). Bravo, bravo, дон-Балтасар! (*Жене, тихо*.) Как он неосторожен — этот Рюи. Что значит молодость!

Балтасар (*садится. Спокойнее*). Неужели же тебе не ясно, Рюи, что было бы жестокостью предоставить еретикам идти их пагубным путем? Разве не милосерднее спасти их?

Рюи. Насильно? Тюрьмой? Костром?

Балтасар (*опять вскакивает. Вызывающе*). Да! Да! А разве Бог не послал казни на избранный народ? Разве не Бог приказал Моисею истребить смертью четырехста поклонников Ваала? Разве не ясно, что генеральный инквизитор — вовсе не Мунебрага, а сам Господь? И мы, воины Инквизиции, в руках его — как благородный, беспощадный меч Тисон в руках Сиды Кампеадора...

Гости. Bravo! Bravo!

Фра-Себастьяно (*встает*). Сеньоры, кстати, о Сиде: если разрешите, я прочту свою новую поэму, посвященную Его Преподобию, сеньору Мунебраге. Там как раз...

Гости. Просим! Просим!

Балтасар. Нет, позвольте! Я хочу, чтобы Рюи ответил мне прямо на вопрос: считает ли он, что Католическая Церковь... (*За стеной на улице слышен топот бегущих ног и неясные крики погони; Балтасар сбивается*.) Что Церковь...

Фра-Себастьяно (*стоит с листком в руках*). Сеньоры...

Толстый сеньор (*возле него теперь еще несколько гостей*). Ого! Этот турнир между братьями становится серьезным!

Крики за стеной ближе. Слышно: «Держи! Где же она? Сюда!»

Гости. Что там? Что случилось? Слышите? (*Вскакивают*.)

Кристобал. Посмотри, Диэго.

Диэго выходит на улицу. Крики затихают вдали. Диэго возвращается.

Кристобал. Ну? Кто же это сейчас там был на улице?

Диэго. Только один человек, сеньор.

Кристобал. Кто же?

Диэго. Я, сеньор.

Кристобал. Ну, ты уж... (*отчаянно машет рукой*). Хорошо, иди.

Фра-Себастьяно. Итак, сеньоры...

Гости. Да, да, фра-Себастьяно! — Конечно! — Мы ждем!
Фра-Себастьяно (*читает*).

Гремите, трубы и литавры,
Хвалите Бога, стар и млад:
Покорны были Сиду мавры —
Покорен Мунебраге ад.
Как Сидов меч, Тисон могучий,
У Мунебраги — крест Христов:
Взмахнет — все выше, выше, круче —
Горой тела еретиков.
Как под Валенсией у Сиды,
Уж руки...

Тихий стук в дверь.

Фра-Себастьяно (*сердито оглядывается и продолжает громче*.)

Уж руки по локоть в крови:
Господь его благослови —
Де-Мунебрагу...

Снова слышится стук.

Рюи. Простите, Фра-Себастьяно. Но там стучат. Быть может, это, наконец, дон-Фернандо...

Идет к двери, открывает. Входит Дама. Прислонившись к стене, смотрит на всех широко раскрытыми глазами, молча.

Дама (*к Рюи*). Закройте... Ради Святой Девы — скорей, скорей...

Кристобал. Как — вы? Одна? А что же дон-Фернандо? Но что с вами?

Дама (*тихо*). Дон-Фернандо взяли.

Кристобал. Дон-Фернандо? О, нет! Что вы, что вы!

Дама (*сперва тихо, потом громче, возбужденней*). Они окружили весь дом, они заняли все входы... Во всех комнатах, все книги, письма... Они схватили дон-Фернандо — у него свалилась шляпа, он наступил на шляпу... и его повели неизвестно куда... Нет, хуже: известно! Святая Дева — они сказали: в этот проклятый замок Инквизиции, в Триану, в тюрму...

Балтасар (*еле сдерживаясь*). В Святой Дом. Это называется — Святой Дом, позвольте вам сказать, сеньора. Это Святой Дом, а не тюрьма. Благодарите Бога и Мадонну, что есть люди, которые...

Дама (*не слушая*). Они рыщут по всему городу. Они оцепили целые улицы. Они повсюду. Гнались за мною. Я видела: ведут мужчин и женщин. В замке Инквизиции все окна освещены. Они замучают, они сожгут его! Дон-Кристобал, скажите — дон-Кристобал, что мне делать, что, что?

Кристобал (*дрожащими руками наливает ей вина*). Вот, выпейте... Я думаю, все это ошибка. И завтра же... Нет, дон-Фернандо... это смешно! Балтасар, ведь ты же знаешь его. Ты знаешь!

Балтасар (*угрюмо*). Да, знаю. И знаю, что однажды он дал приют еретику, которого разыскивал Святейший Трибунал.

Дама (*делая движение к Балтасару*). Да, да, дон-Балтасар — вот вы понимаете: он был такой добрый... Святая Дева! Почему я говорю «был»? О, он шел без шляпы — один, а сзади, и спереди, и с боков — они. А он — один...

Ее окружают гости и гости. Все встали из-за стола. У лестницы справа — Толстый сеньор и группа других поглядывают на происходящее издали и сперва перешептываются, а потом — громко:

Толстый сеньор. Я вам говорю, сеньоры: берите шляпы — и домой. Я вам говорю: в этом доме пахнет огнем.

Толстая сеньора (*радостно*). Нет, вы обратите внимание, как бледен дон-Родриго. Уж поверьте: ну что-то...

Прощаются с дон-Кристобалом, уходят; за ними другие гости. Дама остается; возле нее Кристобал, Диэго, Балтасар; Инеса и Рюи в стороне — возле ниши, где Рюи спрятал книгу.

Инеса. Мой милый Рюи, что с вами? Вы смотрите на меня так, как будто я из стекла. Вы — совсем другой.

Рюи. Разве? Мне кажется... я... Мне неприятно, что этот вечер, такой радостный — был омрачен... В этом я вижу дурной знак.

Инеса. А я ничего на свете не вижу, кроме... (*Пристально смотрит на Рюи.*) Рюи, вы что-то скрываете от меня.

Рюи (*неохотно*). Ну... если хотите, дон-Фернандо — был мой друг. И может быть — даже больше... (*После паузы, решительно.*) Инеса, что бы вы сказали, если бы я...

Инеса. Что — вы?

Рюи. После. Здесь Балтасар...

Диэго, поддерживая, уводит Даму внутрь дома по лестнице налево. Дон-Кристобал и Балтасар — сзади.

Кристобал. Но, Балтасар, подумай: куда же она пойдет, ночью, одна? Ведь это же...

Балтасар. Сеньор отец, я повторяю: она скрылась от служителей Святого Трибунала. Вы можете принудить меня к тому, чего я не хотел бы... И я настаиваю...

Кристобал. Что? Довольно! Или я уж не хозяин в этом доме? (*Уходит по лестнице налево.*)

Балтасар (*вслед ему*). Сеньор отец, предупреждаю, что я должен... Сеньор отец!

Некоторое время Балтасар стоит нахмурившись, глядя вслед ушедшему Кристобалу, потом идет к нише направо, где Инеса и Рюи. Рюи, не глядя на Балтасара, быстро поворачивается и уходит по лестнице в дом.

Балтасар. Ушел, не хочет... Инеса! (*Инеса молчит.*) Инеса, если бы вы знали, как мне трудно сейчас... Понимаете: часы. Хотят или

не хотят — но они неизбежно должны пробить двенадцать. Должны! Инеса! (*Осторожно берет ее за руку.*) Если бы вы когда-нибудь... я не говорю сейчас — но может быть когда-нибудь... если бы вы согласились разделить со мною...

Инеса (*вырывает руку и прячет ее за спину. Нащупала книгу, спрятанную Рюи, вытащила ее и перелистывает, чтобы не смотреть на Балтасара*). Я очень сожалею, дон-Балтасар, но если бы вы оставили меня одну, мне было бы приятнее. Вы, кажется, снова начинаете о том, о чем мы уже столько раз говорили.

Балтасар. В последний раз — больше никогда. Скажите мне в последний раз... (*Снова касается ее руки: Инеса роняет книгу; Балтасар ее поднимает.*)

Инеса (*встает*). Если вы не перестанете, дон-Балтасар, я сейчас же уйду.

Балтасар (*некоторое время молчит, глядя в книгу. Резко*). Чья книга? Ваша? (*Протягивает Инесе.*)

Инеса (*встает*). Ваш это так интересно? Нет, не моя. (*Открывает книгу.*) Здесь пометки. Как будто, почерк Рюи. Ну да, конечно же, его...

Балтасар (*в ужасе*). Рюи? Вы говорите, что это... это его, Рюи?

Инеса изумленно поднимает голову. Входит Рюи. Увидел раскрытую книгу в руках Инесы — и как споткнулся: стоит, не отрывая глаз от книги. За стеной голоса, шаги, звон оружия.

Инеса (*к Рюи*). Опять они: слышите? Весь город полон ими... Что за ужасная ночь!

Балтасар. Да, это... Я должен... (*Делает два-три шага к двери на улицу, останавливается, возвращается обратно. Секунду стоит возле окна; проводит по лицу рукой — раз и еще раз.*)

Инеса (*прислушиваясь*). Прошли.

Балтасар (*очнувшись*). Мне надо... Я скоро вернусь — сейчас... Ты за мной закроешь? (*Подходит к Рюи, кладет ему руки на плечи, опускает глаза.*) Прощай, Рюи! (*Целует его.*) Спокойной ночи, донья Инеса! (*Уходит на улицу.*)

Рюи (*поспешно закрывает дверь и бросается к Инесе*). Он видел? Раскрывал ее? (*Крепко стиснул руку Инесы.*)

Инеса. Что? Я не понимаю... Пустите же, Рюи, мне больно!

Рюи. Он видел? Он видел, что это за книга?

Инеса. Пустите же! Я не знаю... Я уронила... Он спросил, чья книга... Пустите!

Рюи. Он видел!

Инеса. Рюи, ради Святой Девы — что все это значит?

Рюи. Что значит? Это значит, что вы сами того не подозревая, подожгли фитиль у бочки с порохом — и через час, через минуту, я не знаю, когда — все взлетит на воздух...

Инеса. Но что же, что я сделала? Вы меня пугаете.

Р ю и. Разве вы не видите: это Новый Завет по-кастильски, это сделанный Жуаном Перецом перевод с латинского...

И н е с а. Не понимаю. Если это Новый Завет — если это Евангелие...

Р ю и. Дитя! Вы не знаете, что для них — для Балтасара — это ересь? Что это то самое Евангелие, какое читал дон-Фернандо, и десятка, и сотни других, кого сегодня ночью...

И н е с а. Рюи, вы — вы! — тоже... Как дон-Фернандо...

Р ю и. Да, я — тоже.

И н е с а (*после паузы, тихо*). Но неужели вы можете думать, что... Балтасар... (*Громче*). Но это же нелепо! Вы не знаете, как он... Когда вы были в Нидерландах, один — кто, я не скажу — нехорошо отзывался о вас при Балтасаре. И Балтасар вызвал его на поединок, был ранен... Нет же, Рюи, это невозможно, чтобы Балтасар, — я знаю.

Р ю и. Я тоже знаю: одной и той же рукой — он может убить из-за меня и может убить меня...

Слышно: в городе медленно бьют башенные часы.

И н е с а. Пойдите. Он что-то говорил о часах... Не помню. У меня все путается в голове. Какой-то сон... И эта книга, и то, что вы отреклись от Христа и Мадонны, и то, что Балтасар может...

Р ю и (*перебивая, горячо*). Инеса, я не отрекся от Христа: я только полюбил Его — и возненавидел всех, кто снова распинает Его, кто заставляет Его быть предателем, Иудой. Тюрмы, казни во имя Христа! Инеса, вы только представьте: Христос — сейчас там, на улицах. Неужели вам не ясно, что... (*Обрывает. За стеной снова шаги. Оставились.*) Тише: там, кажется, кто-то...

Громкий троекратный стук в дверь.

И н е с а. Рюи...

Р ю и (*прижимая к себе Инесу*). Ничего, ничего, Инеса. Это только... Это... Кто там?

Б ал т а с а р (*за дверью*). Это я. Откройте...

И н е с а. Но там — там еще какие-то голоса... Рюи, я дрожу вся, Рюи...

Р ю и. Нет, нет, это вам показалось. Это Балтасар. Диэго сейчас откроет. Пойдемте.

И н е с а. Я не... не могу...

Рюи бросает книгу в нишу, подхватывает Инесу обеими руками и уносит по лестнице направо. Снова стук в дверь, нетерпеливые голоса.

Д и э г о (*застегиваясь на ходу, бежит к двери*). Кого вам надо?

Б ал т а с а р (*за дверью*). Это я. Открой, Диэго!

Диэго открывает. Входит Д о м и н и к а н е ц, откидывая капюшон. Рядом с ним Б ал т а с а р. Отряд алгуасилов Инквизиции.

Диэго (*всплескивая руками*). Сеньор Иисус!

Балтасар (*большими шагами идет к нише, берет оттуда книгу, подает ее Доминиканцу*). Вот эта книга!

Доминиканец. Подумайте! За эту ночь я вижу уж чуть ли не десятую. Весь город засеян семенами дьявола, и я полагаю... Позвольте, позвольте, куда же вы?

Балтасар, не слушая, быстро выходит на улицу. Весь дом проснулся. Мелькают огни. Открываются окна, высовываются и прячутся чьи-то головы. По лестнице слева спускается Кристобал.

Кристобал (*Доминиканцу*). Что вам здесь надо? Вы ошиблись, отец мой. Это — мой дом, дом графов Санта-Крус.

Доминиканец. Сеньор, простите. Но вот приказ Святого Трибунала. Вы видите печать: меч, ветвь оливы и собака с пылающей головней. И вот девиз: справедливость и милосердие.

Часть алгуасилов уходит в дом по лестнице налево.

Кристобал (*руки у него дрожат*). Я... я... не могу... Здесь неясно.

Доминиканец (*насмешливо*). Возможно. Ведь имя вписано сию минуту, на улице под фонарем. Но оно вам знакомо.

Кристобал (*поднимает бумагу к свету — и садится, согнувшись, постарев сразу*). Как? Мой сын? Рюи?

Доминиканец. Да, сеньор Родриго де-Санта-Крус. И супруга еретика Фернандо Сан-Висенте.

На лестнице справа показывается Рюи; останавливается на последних ступеньках.

Кристобал (*растерянно*). Но... он... ведь только приехал сегодня утром... Только приехал, понимаете? (*С отчаянием*.) Я хочу сказать: его здесь нет — нет!

Рюи (*выходит*). Я здесь. Я Родриго Санта-Крус.

Кристобал (*встает; выпрямившись, смотрит на Рюи. Гордо*). Да, это он.

По лестнице слева алгуасилы ведут вниз Даму.

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Низкая, глухая комната в замке Триана. Сводчатый потолок. Узкое окно с решеткой; створки с цветными стеклами открыты внутрь, на стеклах играет солнечный луч. На одной стене — две задернутые черные занавески; за ними, вероятно, двери или ниши. Возле другой стены — покрытый черным бархатом стол и четыре кресла. Перед столом скамья подсудимых: на выкрашенных в черное деревянных крестовинах положен треугольный брусок острым ребром кверху. Отдельный столик для Секретаря Инквизиции. Под окошком стоят два мастера в длинных черных одеждах, с капюшонами, закрывающими голову и лицо; в капюшонах прорезы для глаз, рта и носа.

Первый мастер (*фыркает*).

Второй мастер. Ты чего?

Первый мастер. Да уж очень смешно. Вчера-то, помнишь? Раздели ее, стали к доске прикручивать, а из груди молоко как брызнет! Прямо мне на руку! Теплое... (*Помолчав.*) Младенец, должно быть, дома, у ней...

Второй мастер (*молчит*).

Первый мастер. Ты что молчишь, нос повесил?

Второй мастер. Девочка у меня заболела. Младшая.

Первый мастер. А, это которая — палец тряпкой завязан. Еще я ей куклу на тряпке...

Второй мастер. Ну вот — теперь у ней всю руку раздуло. Кричит, просто сердце переворачивается. Скорей бы домой.

Первый мастер. Попадешь тут домой! Дадут тебе какую-нибудь упрямую лютеранскую собаку...

Второй мастер (*со злостью*). Ну, у меня нынче живо... Так завинчу...

Первый мастер. Тише! Идут...

Входит Мунебрага с Нотариусом, за ними два доминиканца и сзади всех Секретарь с бумагами и Служитель. Мунебрага — румяный, с ямочками на щеках; доминиканцы — два желтых черепа с венками седых волос. Нотариус на каждом шагу прикланяется и все время идет на полшага сзади Мунебраги.

Нотариус. Ваше преподобие, изволили вы...

Мунебрага (*мастерам*). Можете пока идти к себе. (*Служителю.*) Там есть кто-нибудь наверху в приемной?

Служитель. Сеньор Балтасар. Хочет вас видеть, Ваше Преподобие.

Мунебрага. А-а, это кстати. Веди его сюда! (*Нотариусу.*) Вы что-то опрашивали, сеньор Нотариус?

Нотариус. Я хотел, узнать: изволили ли вы, Ваше Преподобие, читать поэму, написанную фра-Себастьяно? Как метко: сверкающий огнем меч Тисон — именно огнем, заметьте. И Ваше Преподобие — в виде доблестного Сида.

Мунебрага. Да, это, конечно, не Петрарка. Но... (*вытаскивает из кармана изюм, кладет его в рот*) зато в авторе — бескорыстная преданность Церкви, что делает его ценней Петрарки... Ах, кстати: позвольте, фра-Педро, поблагодарить вас за скворца. Вы прямо чудеса делаете со своими птицами! Понимаете, сеньор Нотариус: скворец — насвистывает Те-Deum.

Нотариус. Те-Deum! Так мудро использовать естественное стремление птицы петь! Те-Deum! Как бы я хотел послушать...

Мунебрага. За чем же дело? Вот кончим, приходите завтракать ко мне. (*Зажмуривается.*) А каких мы вчера ели омаров! Мы получаем их из Англии, с Святого Острова. Да, уж этот остров подлинно взыскан благоволением Божиим.

Секретарь (*подносит для подписи*). Приговор, Ваше Преподобие. Костер.

Мунебрага (*не глядя, подписывает. Продолжает*). Слегка поджарены, с соусом из взбитых яиц и с красным канделедским перцем... Пальчики оближешь! И к этому вино — из рейнских лоз. Да, еретики в Германии умеют делать вино, что говорить!

Нотариус (*с поклоном и многозначительной улыбкой*). И еретики на что-нибудь полезны, как все созданное Господом.

Мунебрага. Ах, я все забываю спросить вас. Старик дон-Кристобал...

Нотариус. Разве я не докладывал Вашему Преподобию? Он поторопился отправиться в чистилище — чтобы заблаговременно приготовить там апартаменты для сына. Он этого мальчика, кажется, очень любил.

Мунебрага. Да, знаю, знаю, я не о том. Сколько он оставил? Вам, сеньор, это, я думаю, известно.

Нотариус. Около двадцати тысяч дукатов, Ваше Преподобие. И, стало быть, после конфискации его имущества...

Входит Балтасар. Мунебрага встает ему навстречу.

Мунебрага. Хвала и честь вам, дон-Балтасар. Я вас с тех пор не видел и еще не имел случая сказать вам, как меня глубоко тронул ваш подвиг. Вы подлинно достойны имени Санта-Крус: вы мужественно стали на защиту Святого Креста и Церкви, вы не пощадили даже...

Балтасар. Ваше Преподобие, простите: я пришел справиться о нем — о Рюи... о дон-Родриго, моем несчастном брате.

Мунебрага. Не могу скрыть от вас: у нас есть опасение, что нам не удастся вырвать его душу из когтей сатаны. Он тверд, как железо. Одна надежда, что и железо делается мягким на огне. Сегодня мы допросим его в третий раз, и если он будет все так же упрям — как ни прискорбно, придется прибегнуть к инструментам...

Балтасар *(вскакивает)*. Ваше Преподобие! Вы хотите... вы хотите его, Рюи... *(Замолкает.)*

Мунебрага *(с усмешкой)*. Вы хотите что-то сказать, дон-Балтасар?

Балтасар *(снова опускается в кресло. Устало)*. Нет. Ничего.

Мунебрага. Нет? Тогда позвольте мне сказать вам — или, вернее, доказать — как я ценю вас. Я хочу, чтобы вы были спокойны, и предоставлю вам самому возможность судить, насколько мы будем правы, если отведем его туда... *(Показывает на ту дверь за занавесью, в которую ушли мастера.)* Вы сами услышите, как он говорит и что. Прошу вас сюда, сеньор.

Открывает одну из занавесей в передней стене: за занавесью кресло в нише. Балтасар по-прежнему сидит возле стола, согнувшись.

Ну, что же?

Балтасар медленно, тяжело идет, садится в нише. Мунебрага задерживает занавесь, подходит к столу, звонит. Входит служитель.

Сороковой номер здесь?

Служитель. С утра здесь, Ваше Преподобие.

Мунебрага. Сюда его. *(Садится на место, вынимает из кармана и жует.)*

Нотариус *(тихо)*. Вы не опасаетесь, Ваше Преподобие, како-нибудь... недоразумения? *(Кивает головой в сторону ниши.)*

Мунебрага. Недоразумения? Наоборот — я жду большего разумения того, насколько мы следуем нашему священному девизу: справедливость и милосердие. *(Предлагает нотариусу изюм.)* Угодно? Это синий, из Малаги. Бели у вас желудок не в порядке, если вас крепит — так это прекрасное средство!

Служитель вводит Рюи. Рюи босой, в арестантской одежде.

Мунебрага. Сын мой! Взгляни туда... *(Показывает на окно.)*

Рюи *(оборачивается)*. Какое синее! *(Закрывает глаза и снова поворачивается к столу. Как бы оправдываясь.)* Я отвык.

Мунебрага. Сын мой! Мы хотим, чтобы твоя душа была в этом неизреченном свете, а не в крошечной тьме геенны. У тебя есть еще время покаяться. И есть путь: оказать нам чистейшую, как это небо, правду.

Рюи. Ни один из Санта-Крусов не нуждается в таком щите, как ложь.

Мун е б р а г а. Тем лучше. Тогда скажи: известен ли тебе указ нашего доброго короля — указ о том, что всякий перепечатавающий, продающий или читающий эту книгу (*осторожно, двумя пальцами, как бы опасаясь запачкаться, поднимает со стола книгу*) — должен быть казнен на костре, на эшафоте или в яме?

Р ю и (*вздрагивает*). Известен.

Мун е б р а г а. И, значит, ты признаешь, что впал в ересь сознательно, с открытыми глазами вступил на этот сатанинский путь?

Р ю и (*спокойно*). Мой путь не сатанинский, а путь Христа.

Мун е б р а г а (*негодуяюще*). Вы слышите? Что он говорит, что он говорит, безумный! Если твой путь есть путь Христа, то, следовательно, наш — сатанинский? Ты, следовательно, считаешь, что Святая Церковь... нет, мой язык не в состоянии произнести такую хулу! Секретарь, отметьте: богохульствует.

Ф р а - П е д р о (*доминиканец слева от Мунебраги*). Неслыханно!

Р ю и (*все еще спокойно*). Вы просто хотите придать другой смысл моим словам. Я утверждал раньше и утверждаю, что ни в чем не отступил от учения Христа.

Мун е б р а г а. Но раз Церковь — раз мы говорим тебе, что ты впал в ересь... Ты, стало быть, хочешь сказать, что Церковь может ошибаться? Ты не веришь тому, чему учит Церковь?

Ф р а - Н у н ъ о (*доминиканец справа от Мунебраги*). Это, Ваше Преподобие, настолько очевидно, что я полагал бы...

Ф р а - П е д р о (*горячо*). Несчастный! Да если бы мне Церковь сказала, что у меня только один глаз — я бы согласился и с этим, я бы уверовал и в это. Потому что, хотя я и твердо знаю, что у меня два глаза, но я знаю еще тверже, что Церковь не может ошибаться. А ты, несчастный...

Р ю и. Вот именно, отец мой: я твердо знаю, что у меня два глаза. И обоими глазами я вижу ясно, что в этой книге — учение Христа.

Ф р а - П е д р о (*кричит*). Молчи! Это дьявол подсказывает тебе на ухо ответы! Вот — я вижу, я вижу: шевелятся его бородавчатые, лиловые губы! Это — тот самый, какой сегодня ночью меня...

Мун е б р а г а. Успокойтесь, фра-Педро! (*К Рюи.*) Сын мой! Пойми же: мы любим тебя — как отец любит даже и блудного сына. И от твоего упорства сердце у нас по каплям исходит кровью. Пойми же, наконец, свою выгоду: если ты не покаешься — как упорный еретик, ты будешь сожжен на костре; если ты покаешься — как сознавшийся в ереси, ты будешь сожжен на костре, но...

Р ю и (*с усмешкой*). Я выгоды не вижу.

Мун е б р а г а. Ты не дал мне кончить. Пойми: кратковременным страданием ты искупишь свой грех. И раньше или позже — из чистилища ты перейдешь в светлое Христовое Царство. Покайся же!

Р ю и. Мне не в чем каяться.

Мун е б р а г а (*встает, руки к небу*). Святая Дева! Помогите мне смягчить его окаменевшее сердце! (*Выходит из-за стола, становится перед Рюи на колени. С дрожью в голосе.*) Сын мой! Я на коленях молю

тебя: покаяйся! Ты видишь у меня слезы на глазах... Сжался над нами, дай нам спасти тебя!

Рю и (*пытается поднять его. Растерянно*). Встаньте же... Ведь это... Я... я просто... (*Доминиканцам*.) Помогите же мне...

Мунебрага. Не встану — пока не скажешь: каюсь!

Рю и. Клянусь Святым Крестом: если бы я чувствовал, что я... Но я же не могу...

Мунебрага (*встает. Секретарю*). Запишите: упорствовал и ложно клялся Святым Крестом. (*Садится*.) К прискорбию, я вижу, нам остается только одно...

Звонит два раза. Входят мастера.

Принесите инструменты. А вы, фра-Нуньо, объясните ему. Я обессилен — он измучил меня своим упорством.

Фра-Нуньо (*по мере того, как приносят инструменты, объясняет. Говорит ласково*). Вас положат на эту лестницу, сеньор Родриго. Руки привяжут вот тут, наверху, а ноги вот к этой веревке. А здесь вот — видите? — это ворот, и воротом вас будут тянуть вниз, пока суставы не хрустнут — и вы будете становиться все длиннее, длиннее, длиннее... А вот тут, на этой скамье — тут гвозди... (*Что-то смахивает с гвоздей*.) Это ничего: это остались клочки... Вас прикрутят осторожно к скамье — сапог на вас нет? — отлично; ноги будут вот здесь, в колодке. Внизу поставим жаровню — вот так! — подошвы вам смажем маслом, слегка, и будем подогревать... пока не лопнет кожа и мы не увидим, какого цвета кости у вас. А если вы все же будете молчать, так наши мастера наденут на вас вот эти сапоги. Уж вам придется извинить нас, если они окажутся немного просторны. Но видите ли, здесь есть винт, и если подвинтить — боюсь, вы станете жаловаться, что сапоги вам слишком тесны... (*Рю и отступает к скамье подсудимых, хватается рукою за стойки*.) А это... не пугайтесь, дон-Родриго: здесь всего только вода, чистойшая, как слезы Мадонны. Вода и кусок полотна. Полотном мастера прикроют вам нос и рот и сверху будут лить воду. Правда, вы будете захлебываться, и один только глоток воздуха покажется вам драгоценней, и слаще, и желанней мадригальского вина... Но стоит вам только сделать знак рукою, что вы готовы подчиниться нашим отеческим советам — как тотчас же...

Мунебрага. Довольно. Я вижу: он согласен. Не правда ли, сын мой?

Рю и (*тихо*). Этим... этим, быть может, вы заставите меня сознаться в чем угодно. Может быть, я даже скажу вам, что Господа Иисуса Христа убил я, а не кто другой. Но помните... (*Твердо и громко*.) Помните, что на другой день я повторю вам все то же: я ни в чем не нарушил заветов Христа, изложенных вот в этой книге.

Мунебрага. Так? (*Подходит к инструментам и благословляет их*.) Во имя Божие и святого Доминика... (*Мастерам*.) Ведите его. (*Мастера ведут Рю и*.)

Фра-Нуньо (*Мунебраге — тихо*). Перед тем, как наши мастера... — пожалуй, было бы очень кстати посвятить его в то, что его отец уже... понимаете? Это пробьет в упрямце брешь и облегчит мастерам штурм...

Мунебрага. Вы мудры, как змий, фра-Нуньо. (*Мастерам.*) Эй, постойте! Сын мой, пока не поздно — в последний раз, именем твоего покойного отца...

Рюи (*вырывается из рук мастеров к столу*). Вы сказали... отца... Он умер? Умер?

Мунебрага (*скорбно*). Да, сын мой. Он не вынес. И это ты убил его своим преступным...

Рюи. Я? Нет, не я, а вы — ваш Балтасар... Он убил отца, да, он! И меня он... (*Задыхается.*) Из низкой зависти, что Инеса...

Балтасар (*за занавесью*). Ложь! (*Выходит.*) Ложь! Замолчи! Ты не знаешь, чего мне стоит...

За столом смятение. Все вскакивают с мест.

Рюи. А-а, ты там подслушивал! Ну что же: ты все идешь вперед. Недаром же на щите у Санта-Крусов девиз: «Только вперед».

Балтасар. Замолчи!

Нотариус (*Мунебраге*). Я говорил!

Мунебрага быстро становится между Рюи и Балтасаром.

Мунебрага (*Мастерам*). Возьмите его! Живей!

Рюи. Я сам пойду. Но теперь, когда я знаю, что мой милый брат будет сидеть с вами и ждать, пока я... Будьте уверены: теперь я не скажу ни слова! (*Мастерам.*) Я готов.

Уходит с мастерами. Все рассаживаются. Балтасар тяжело опускается на скамью подсудимых.

Мунебрага. Ах, дон-Балтасар, боюсь — вы испортили нам все дело... Но садитесь сюда: вам там не место.

Балтасар. Не знаю. Быть может, именно на этой скамье...

Мунебрага. Мужайтесь, дон-Балтасар. Я понимаю: вам нелегко. Но вспомните — Христос сказал Иуде... то есть наоборот: Иуда сказал...

Балтасар (*поднял голову, прислушивается — перебивает*). Постойте, кажется...

Нотариус (*любезно*). О, нет, сеньор. Тут стены очень толсты — и дверь... Так что это вам только показалось.

Балтасар. Ваше Преподобие — я умоляю вас: распорядитесь остановить. Я умоляю!

Мунебрага (*сурово*). Я не узнаю вас, дон-Балтасар. Вы вмешиваетесь в действия Святого Трибунала. Остановить пытку?

Балтасар. Да, да... Мне пришло сейчас в голову... Потому что, ведь он все равно ничего не скажет, я знаю его. Мне пришло в голову, что есть другое средство...

Мунебрага. Действительнее пытки? Не думаю, сеньор.

Балтасар. Да, вы сейчас увидите сами... Только прошу вас — прошу вас — остановите скорей...

Мунебрага (*пожимая плечами*). Хорошо. Но если окажется, что вы...

Звонит два раза. Показывается Второй мастер — утирает рукою пот с лица.

Остановите... пока.

Второй мастер (*недовольно*). Уже остановить?

Мунебрага. Я сказал.

Мастер уходит.

Мы ждем, дон-Балтасар.

Балтасар. У него... у моего брата — невеста... Инеса — он только что назвал ее.

Мунебрага (*заинтересовываясь*). А-а! Невеста?

Балтасар. Она готова жизнь отдать, чтобы спасти его. И ей надо обещать, что если ей удастся убедить Родриго покаяться, то ему будет дарована жизнь. И я уверен — тогда...

Мунебрага. Дон-Балтасар, сегодня вы расстроены и говорите очень странно — чтоб не сказать больше. Неужели мне объяснять вам — вам? — что мы не вправе прощать еретиков. Неужели и вам надо напоминать о том, что щадя их тело — мы безжалостно оставляем их душу во власти...

Балтасар. Ваше Преподобие, вы поняли меня превратно. Я сказал: обещать.

Мунебрага. Обещать? Позвольте, позвольте... Вы хотите сказать, что...

Балтасар (*перебивая, горячо*). Я люблю его. И чтобы спасти его душу... Это мне дороже страданий его, моих и... и чьих угодно. Дороже чести...

Мунебрага. Дон-Балтасар, простите меня: я на минуту усомнился в вас... и, кажется, даже был резок... Вы правы — тысячу раз правы. Я вас понял. Я понял. Это гениально! Мы испробуем ваш способ завтра же — непременно. Вы правы... А пока, сеньоры, кончим — и, надеюсь, вы не откажетесь разделить со мною мою скромную трапезу?

Нотариус. Как всегда вы истинно-христиански скромны, Ваше Преподобие. Скромная трапеза!

Балтасар. Благодарю за честь, Ваше Преподобие... Но...

Мунебрага. И слышать не хочу! Идемте. (*Берет Балтасара под руку; идут к двери направо.*) Индейка, кормленная каштанами — вы понимаете? Это не индейка, а трехлетний ребенок в масле, персик, облако... (*В дверях.*) Нет, нет. И слышать не хочу!

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Приемная де-Мунебраги. Окна с ярко расцветенными витражами, много солнца. На устланном ковром возвышении в кресле — Мун е б р а г а. Зала полна посетителей. Жужжание сдержанного говора. Отдельно — группа до м и н и к а н ц е в.

Первый до м и н и к а н е ц (*восторженно*). Это, я вам скажу, была охота! Он выскочил через окно в сад, мы загнали его в угол. Так что же бы вы думали: стал, проклятый, прыгать на стену, цепляться ногтями. Потом сел в углу, лицом в стену — и захныкал. Тут мы смело навалились кучей...

Второй до м и н и к а н е ц. Да, в эту ночь Сеньор Иисус благословил наши сети, как некогда сети галилейских рыбаков...

Разговаривая, уходят. Остаются фра-Педро и фра-Нуньо. Фра-Нуньо что-то шепчет на ухо фра-Педро.

Фра-Педро (*жадно*). Где? Где?

Фра-Нуньо. Вон — рядом с дон-Балтасаром на диване. Вся в черном — видите?

Фра-Педро (*отплевывается*). Тьфу! Тьфу! Vade retro! Какая мерзостная красота! Точь-в-точь, как тот суккуб, какой вчера ночью...

Фра-Нуньо. А вот попробуем, не удастся ли нам и суккуба обратиться в оружие церкви. Того — Родриго — тоже привели: ждет внизу. Сейчас кончится прием и тогда... Я просто умираю от нетерпенья: удастся — или не удастся?

В это время Мунебрага знаком подзывает к себе Секретаря Инквизиции и что-то приказывает.

Секретарь (*стоя на возвышении, громко*). Его Преподобие сегодня больше не принимает. Остальные — завтра.

Посетители начинают выходить. Снаружи, за дверью, какой-то шум, визгливый женский голос.

Женский голос. А я вам говорю — пойду! А я говорю...

Мун е б р а г а (*морщась*). Что там такое? Скажите, чтобы...

Вывавшись от алгуасилов, вбегает высокая, растрепанная же н щ и н а и падает на колени перед Мунебрагой. Посетители задерживаются в дверях, с любопытством смотрят.

Женщина. Ваше Преподобие! Сеньор! Я не могу терпеть такого надругательства над верой! Я должна...

Мунебрага. Встаньте, дочь моя. В чем дело?

Женщина (*захлебываясь от негодования*). Сеньор... Этот подлый Хуан, мой муж... Он подарил турецкую шаль соседке Марии. Это ей-то! Да у ней только и хорошего, что жирное вымя, а глупа, как...

Мунебрага. Но вымя — это не входит в круг наших задач, сеньора.

Женщина (*не слушая*). Так я ему и сказала: глупа, как мул. А он на меня — с кулаками. Я схватила со стены медное распятие, размахнула и хотела... Не помню: кажется — я хотела его благословить.

Мунебрага. Благословить? (*Еле сдерживает смех.*)

Женщина. Да, кажется. А он, негодный, ударил кулаком, вышиб распятие — и потом всю меня... Вот видите — синяки: вот, вот... Он оскорбил меня — и Святой Крест...

Мунебрага. Вас, милая сеньора, как будто уж не так легко оскорбить. Но то, что он ударил изображение Божественного Спасителя... Я прикажу арестовать его.

Женщина. Да хранит вас Матерь Божия, сеньор! Вы заступник веры и слабых женщин... А уж с этой Марией — я с ней разделаюсь... я ей... (*Что-то приговаривая, уходит.*)

Сдержанный смех среди посетителей. Мунебрага сперва закрывает рот платком, затем смеется громко, роняет платок. Несколько посетителей бросаются поднимать.

Первый гранд (*у авансцены — Второму гранду*). Турнир из-за платка — смотрите: сражаются де-Кастро, и Вега, и дон-Мендоса... целый букет севильских рыцарей...

Второй гранд. Сеньор, я не пойму: как вы можете улыбаться?

Первый гранд. Нет, отчего же? Это зрелище — прекрасно. Инквизиция — могущественна; могущество — красиво; преклонение перед красотой — прекрасно. Ergo...

Второй гранд. Сеньор, в ваших словах есть вкус полыни...

Уходят вместе с остальными. Секретарь, фра-Нуньо и фра-Педро удаляются через другую дверь во внутренние покои Мунебраги. В приемной остаются Мунебрага и Балтасар с Инесой.

Мунебрага (*подходит к Инесе*). Итак, сеньора...

Инеса (*прерывающимся голосом*). Дон-Балтасар говорил мне, что вы были так... так добры, что разрешили мне свидание с моим... с моим женихом... дон-Родриго...

Мунебрага. Прелестная сеньора! Если бы я не разрешил раньше, то, конечно, разрешил бы теперь — увидев вас. Какие ручки! Говорят, такие же были у мавританки Ахи Галианы, и такими же — она погубила душу рыцаря Нальвильоса...

Инеса (*смущенно*). Вы... вы очень добры, отец мой...

Мун е б р а г а (*продолжает*). Но вы, быть может, этими руками спасете дон-Родриго.

И н е с а (*радостно*). Спасу? Вы говорите — я... О, дон-Мунебрага, неужели... Дон-Мунебрага, это неправда, что говорят о вас — что вы жестоки... (*Горячо.*) Это неправда — я вижу!

Мун е б р а г а. Сеньора, вы не допускаете мысли, что вы — лишь вы — заставили меня вдруг перемениться? Вот если бы вам так же удалось и дон-Родриго сделать менее жестоким по отношению к нам! (*Берет и гладит ее руку. Инеса закусывает губы, но сдерживается.*) Так вот, сеньора. Вы должны убедить жениха покаяться — и тогда...

И н е с а. Что — что тогда?

Мун е б р а г а. Первое — мы завтра же переведем его из Трианы в монастырь Святого Доминика: дон-Родриго там будет легче. А затем — посмотрим. Надеюсь, нам удастся сохранить его для вас. Разумеется, если он будет чистосердечно отвечать на все наши вопросы.

И н е с а. Я сделаю! Сеньор де-Мунебрага! Я все сделаю! Он покается! Дайте — дайте мне только увидеть его!

Мун е б р а г а. Я ухожу, сеньора: сказать, чтобы его привели. Но помните: вы должны от него добиться... вы должны! (*Уходит.*)

И н е с а (*Балтасару — возбужденно*). Неужели — неужели все это правда? Я верю — и боюсь поверить. Я думала, что Мунебрага — ...а он такой же, как все, как мы все — самый обыкновенный. Но зачем он так мои руки... Была одна минута — я чуть не схватилась за свой кинжал: ведь вы знаете — он всегда при мне...

Б а л т а с а р. Этим кинжалом вы прежде всего убили бы его, Рюи. Вы должны взять себя в руки и помнить, что сейчас от вас — только от вас — зависит, какова будет судьба Рюи.

И н е с а. Пойдите — он сказал: в монастырь... но ведь... Это только сейчас пришло мне в голову... Ведь это же... понимаете? Если нельзя устроить побег отсюда, то из монастыря...

Б а л т а с а р (*молчит*).

И н е с а (*спохватившись, жестко*). Прошу прощения. Я забыла, что говорю с тем, кто заключил Рюи в Триану. (*Помолчав.*) Но ведь это вы же устроили мне свидание с ним — и чтоб спасти его, вы... Нет, я вас не понимаю — я боюсь вас!

Б а л т а с а р (*молчит*).

И н е с а. Берегитесь, дон-Балтасар! Не забудьте: во мне есть мавританская кровь. Недаром Мунебрага вспомнил Аху Галиану... Но, впрочем, нет: тут же не может быть, не может быть ничего такого... Ну, скажите — что не может! Ну, что же вы молчите?

Б а л т а с а р. Я могу сказать только одно: если вы убедите Рюи — он будет спасен.

И н е с а. Порукой в том ваше слово — слово честного рыцаря и графа Санта-Круса?

Б а л т а с а р (*твердо*). Да. (*Горячо.*) Если бы вы знали, чего бы

только я не дал, чтобы он покаялся! Ведь я же брат ему! И ради его спасенья — я готов...

За дверью справа — голова.

Инеса (*торопливо*). Я вам верю.

Балтасар. Они... Я буду ждать внизу. (*Уходит во внутренние покои.*)

Входит Мунебрага. Заним два служителя вводят Рюи.

Мунебрага. Ну вот, сеньора: я отдаю этого упряма в ваши нежные руки — и, вероятно, вы предпочтете остаться с ним вдвоем?

Инеса. Да, если бы...

Мунебрага. Хотя по нашему уставу это и не разрешается, но для вас, сеньора... (*Служителям.*) Ступайте! (*Инесе.*) Когда вы кончите — вы постучите мне в ту дверь. Но торопитесь.

Инеса и Рюи — на диване. Инеса обняла Рюи и молча прижимает его голову к груди. Пауза.

Инеса. Мой бедный, мой милый мальчик... Простите — что я так... но вы для меня сейчас — как мое единственное дитя — мое дитя! (*Пауза.*) Если б вы знали, как я все это время... я не спала, я целые ночи металась по комнате — и все об одном: ведь это я, я — вот этими руками! Я взяла там, в нише, эту книгу! И я должна...

Рюи. Инеса, не надо... Я не могу говорить... Понимаете: после соломы и крыс — вдруг солнце — и вы здесь, со мною! Инеса, сделайте, чтоб я поверил: вдруг проснусь, вдруг всё...

Инеса. Мой бедный! Ну, слушайте — вот сквозь шелк — вы слышите, как бьется мое сердце?

Рюи (*секунду слушает*). Инеса! (*Прижимается губами к тому месту, где слушал. Выпрямившись.*) Инеса! Неужели, это — последний раз? (*Инеса опять нежно берет его голову и прижимает.*) Что вы делаете со мной? Все время я был в каких-то железных латах, а сейчас...

Инеса. Не надо лат. Я не хочу, чтобы вы были в латах — со мною. И не бойтесь: не последний раз. Мы вас спасем. Понимаете — спасем. И я здесь для того, чтобы...

Рюи. Спасем? Меня? Кто это — «мы»?

Инеса. Я и Балтасар.

Рюи (*нахмурившись*). Балтасар?

Инеса. Да, это он устроил все. Мне кажется, он очень изменился и так страдает... Он устроил — и я только что говорила с дон-Мунебрагой...

Рюи. Инеса, зачем вы... Если вы хотели утешить меня обманом — так не надо. Не надо лучше! Я уже приучил себя к мысли, что скоро я... Зачем же вы...

Инеса. Рюи, милый, вы мне не верите — мне? Взгляните мне в глаза. Ну? Неужели они не говорят вам...

Р ю и (*медленно*). Да. Да, как будто... (*Отодвигаясь, качает головой.*) Нет. Это невозможно. Я знаю их. Нет...

И н е с а. Балтасар вот только сейчас, здесь, дал мне слово, что если вы исполните то, что я скажу вам — вы будете спасены. Понимаете: дал слово. Не станет же он... И Мунебрага — сам обещал мне...

Р ю и. Ах, знаю я их спасенье!

И н е с а. Ну, пусть даже вы и правы... Хотя я говорю вам: Балтасар дал слово. Но ведь это остается: Мунебрага обещал мне завтра же перевести вас в монастырь Святого Доминика. А оттуда... (*Тихо.*) Рюи... вы понимаете? — оттуда, позже, вы можете...

Р ю и (*оживляясь*). В монастырь? Пойдите, пойдите... Но что же я должен?

И н е с а. Рюи — так немного, так немного... Только сказать им, что вы ошибались, сказать, что теперь вы признаете это — только сказать! (*Умоляюще.*) Рюи!

Р ю и (*угрюмо*). Сознаться? Покаяться?

И н е с а. Рюи, слушайте. Если они убьют вас — я тоже не буду жить. Я в тот же день убью себя. Вы знаете — я ведь не бросаю слов на ветер.

Р ю и. Инеса, что вы делаете, что вы делаете со мною!

И н е с а. Рюи, слушайте. Неужели у вас хватит духу убить меня?

Р ю и. Монастырь Святого Доминика... Да, я вспоминаю: дон-Пабло удалось бежать оттуда... Да, помню... (*Загораясь.*) Инеса! (*Берет ее за руки.*)

И н е с а. Я победила! Я вижу! Я спасла вас!

Р ю и (*тихо*). Инеса — и ведь вы тоже со мною? Когда я вырвусь — мы уедем вместе?

И н е с а. Да, Рюи! Да! Да!

Р ю и. И где-нибудь далеко... Мы найдем наш Эльдorado... Далеко от всех этих... (*Вздрагивает.*) и от их инструментов...

И н е с а. Рюи, милый, не надо об этом. Это уж кончено: забудьте. И помните — только помните, что скоро... (*Поднимается.*)

Р ю и. Одну минуту... (*Прижимается, лицом к ее груди и целует.*) Прощайте...

И н е с а. Нет, Рюи, не прощайте. Я знаю: мы опять скоро увидимся. Я чувствую. И увидимся не так, как сейчас — все будет другое... (*Подходит к двери, стучит.*)

М у н е б р а г а (*входит*). Ну что ж, сеньора? Я жду с нетерпением.

И н е с а (*радостно*). Он согласен!

М у н е б р а г а. Сеньора, я говорил, что эти очаровательные ручки... Нет, право, нам необходимо включить хотя бы одну женщину в число членов Святого Трибунала. Тогда наша работа пошла бы гораздо быстрее — и легче — и приятней для тех, кого нам приходится спасать от дьявольских когтей... (*Инеса делает движение, чтобы отойти.*) Еще немного терпенья. Я хочу, чтобы все это при вас... Так вер-

нее. (*Заглядывает в отворенную дверь.*) Сюда, прошу вас. И захватите с собою бумаги.

Входят секретарь, фра-Педро и фра-Нуньо.

Итак, сеньор Родриго, вы передумали? И больше уж не хотите мучить нас своим упрямством?

Рю и (*не отрываясь взглядом от Инесы. Тихо.*) Да.

Мунебрага. Вы признаете, что впали в преступную ересь?

Рю и (*по-прежнему.*) Да.

Мунебрага (*Секретарю*). Пишите. (*Поворачиваясь к Рюи.*)

И каетесь, и просите Святую Церковь отпустить вам прегрешения?

Рю и. Да.

Мунебрага. Пишите. Ну, вот видите, как просто. Вот и все! (*Инесе.*) От имени Святого Трибунала — благодарю вас, сеньора. (*Секретарю.*) Сегодня понедельник... завтра... нет, когда у нас аутодафе?

Секретарь. В четверг.

Мунебрага. Сегодня уже поздно, сеньора. И вдобавок, вечером нам придется еще раз немного поговорить с дон-Родриго. Но завтра — ручаюсь вам — он будет в монастыре Святого Доминика.

Инеса. Сеньор, я так — так благодарна вам! Сейчас я выйду отсюда — и в первый раз этой весной увижу, как цветут деревья, и как... Прощайте, дон-Родриго, и помните всё, что я вам сказала, — помните, что завтра вы уже в монастыре...

Рю и (*с тоской*). Инеса! (*Служители уводят его направо.*)

Мунебрага (*Инесе*). Сюда, прошу вас. (*Секретарю.*) Проводите!

Фра-Педро. Опасен! Господь премудр — и руками той, кто погубил блаженство человека в раю, руками любимицы дьявола — спасен. Господь премудр...

ЗАНАВЕС

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Площадь в Севилье. В глубине, заслоняя солнце, высится черный, как уголь, Святой Дом — замок Триана. Ближе — квемадеро: каменный эшафот, по углам четыре гигантских медных статуи апостолов. В нижней части статуй открыты двери: видны разложенные внутри статуй костры; костры также и на свободной площади квемадеро. Между квемадеро и замком — овраг: нежно-зеленые листья оливок, золотые апельсины. Слева — фасад дома и балкон; с балкона спускается черное сукно — на сукне серебром королевский герб. Под балконом — трибуны, обтянутые черным; у подножия трибун — несколько лож для знати. Фасад дома заканчивается (недалеко от рампы) круглой башней, под башней — ворота. Справа от квемадеро — небольшой, тоже черный, помост для инквизиторов и духовенства, украшенный гербами инквизиции. Площадь наполнена народом, на трибунах — все больше и больше разодетых кабальеро и дам. От середины квемадеро через всю площадь тянутся шпалерами алгуасилы: охраняют проход для шествия. Шныряют разносчики прохладительных напитков, торговцы фруктами, монахи. Вдали глухой, медленный звон колоколов.

Торговец фруктами. Персики, гранаты, гранаты! (*Офицеру алгуасилов, любезничающему с девушкой.*) Сеньор алгуасил, купите: персик обойдется вам куда дешевле этой сеньориты, а пушок такой же приятный, как у нее на губах. Право! (*Гладит себя персиком по щеке.*)

Девушка. Бесстыдник! Сеньор алгуасил, скажите ему, чтобы он...

Торговка (*румяная, руки красные, засучены по локоть, вскакивает на табуретку*). Вон, вон уж видно: спускаются, завернули! Еретиков-то нынче сколько! Целое стадо!

Толпа. Пусты же, дай мне! — Не давите, я вам не виноград! — Пожалуй, посочнее... — Чего там, волокиты ее за ноги! (*Стаскивают торговку. Смех.*)

Слева из-под башенных ворот показывается пара: горожанин с лимонно-желтым лицом, опирающийся на палку; с ним рядом — сеньор с двумя сумками в руках. Справа другая пара: обливающийся потом горожанин с румяным лицом, рядом сеньор с веером.

Сеньор с веером. Чтоб их чума заела! Надо же им было устроить это перед самым нашим домом! От этих еретиков такая жирная сажа: опять закопят мне все стены — чистить потом...

Румяный. Осторожней! Не видишь: сосед навстречу. Время теперь такое: кто его знает...

Желтый. Чтоб их черт взял! Вместо того, чтобы лежать — я, человек больной, должен вот с самого утра...

Сеньора с двумя сумками. Ш-ш, тише! Навстречу нам этот толстый боров. Кто его знает... *(Встречаются.)*

Желтый. А-а, любезный сеньор сосед! О чем это вы так горячо беседовали с супругой?

Румяный. Мы радовались, что квемадеро так близко от нас. Хвала отцам инквизиторам: без них мы давно забыли бы о душе и погрязли в низменных заботах о плоти.

Возле разговаривающих появляется Идальго, похожий на дон-Кихота, и, уронив монету, усердно ее ищет; разговаривающие косятся на него.

Желтый. Вполне согласен. Вот я — собрал последние силы и все-таки пришел. Я мог бы взять удостоверение от медика, что по болезни не мог прийти, но я не хотел упустить счастливый случай.

Сеньора с двумя сумками. К тому же — выгодно: ведь Его Святейшество обещал дать всем присутствующим бесплатное отпущение грехов на сорок дней, а если купить индульгенции у монахов — это выйдет... Сорок раз по пять... *(Проходят.)*

Первый гранд *(в воротах под башней)*. Улов у них богатый. Подумайте, какие имена: де-Кастро, Сан-Висенте, младший Санта-Крус...

Второй гранд. Дон-Родриго? Нет, вы ошибаетесь, сеньор! Я слышал, что старший, дон-Балтасар, использовал свою близость к Святому Трибуналу, и ему удалось...

Первый гранд. Что ему удалось отправить брата в Триану — это верно. Но чтобы он раздумал посредством костра излечить Родриго от вредных мыслей... Едва ли. Едва ли, сеньор! Скорей у этого медного апостола случится изжога после сегодняшней дичи...

Неподалеку появляется Идальго, похожий на дон-Кихота, роняет монету, ищет ее.

Второй гранд. Не так громко, сеньор. Вон тот Идальго уж что-то слишком долго ищет свою монету.

Первый гранд *(оборачивается. Громко)*. Как спокойно и радостно на душе, когда чувствуешь за собой бдительный, любящий взгляд! Невольно вспоминается, что к каждому из нас от рождения приставлен белокрылый Ангел-Хранитель, любовно стерегущий наш каждый шаг...

Похожий на дон-Кихота Идальго поднимает свою монету и ретируется. Первый гранд смотрит ему вслед с усмешкой.

Второй гранд. Вас не поймешь, сеньор, когда вы в шутку, и когда серьезно...

Проходят. Из толпы — Балтасар и Инеса.

Торговец фруктами. Персики, сеньор, персики! Кожа нежная, как у вашей... *(Пригвожденный к месту взглядом Балтасара, замолкает, пятится в толпу.)*

Инеса *(поднимает голову, увидела квемадеро, остановилась)*.

Я не могу... Эти медные лица — и все время колокол... Я не могу! Слушайте: вы уверены, что ему — Рюи — вчера передали этот поддельный ключ и оружие и что он успел...

Балтасар. На нас смотрят. Успокойтесь, прошу вас. Ведь вы же понимаете...

Инеса. Да, да... Сейчас... Я — я помню... Я знаю: Рюи не может быть здесь. Но при одной мысли, что он тоже мог бы... Дайте мне руку... нет, не надо. Сегодня я так вас ненавижу! Ведь это вы его — вы... Пусть даже потом вы сами — помогли...

Балтасар. Донья Инеса. Я знаю, вам трудно простить меня. Но попробуйте понять: я не мог иначе! Что бы ни случилось, помните: я не мог, я должен был — как стрелка часов — все вперед, до конца... Каков бы ни был конец... А мы никогда не знаем, каков он будет.

Инеса. Какой конец? Почему не знаем? Не мучьте меня, ради Святой Девы!

Балтасар. Не смотрите на меня так. Зачем — зачем вы пошли сегодня?

Инеса. Я не могла ждать до завтра. А сегодня — я своими глазами увижу, что его здесь нет, что он — спасен...

К ним подходят Первый и Второй гранды, низко кланяются. Все четверо проходят к ломам.

Торговка (*опять на табуретке*). Идут! Идут!

Толпа. Пусти, говорят тебе! Ты и так, как колокольня... — Ты что больше любишь? Это — или бой быков? — Ай, ожерелье! Оборвали мое ожерелье!

Алгуасилы (*осаживают толпу*). Назад, эй! Назад, говорят вам! — Ты, деревенщина, дойная корова что ли: ноги-то расставил! Что-о?

Показывается шестие. Впереди угольщики, с пиками; за ними доминиканцы с белым крестом, обвитым черным крепом. Мальчики, ученики духовных коллегий, в белом. Поют: «Ora pro nobis».

Торговка. Вот они! Глядите!

Девушка. Сеньор алгуасил, а эти, с пиками — зачем?

Офицер алгуасилов. А это, красавица, угольщики — поставщики святых костров.

Девушка. У-угольщики! Я думала... А знаете, сеньор алгуасил, вам бы очень пошли рыцарские шпоры. Я бы хотела, чтобы вы скорее завоевали какую-нибудь французскую крепость.

Офицер алгуасилов (*покручивая усы*). Сеньора, я как раз пытаюсь завоевать самую неприступную крепость — ваше сердце.

Девушка. Сеньор алгуасил, тогда вы уже заслужили шпоры...

Приносят важную сеньору в носилках.

Сеньора в носилках (*высовываясь*). Еще не зажгли? Я не опоздала?

Офицер алгуасилов (*покручивая усы*). О, нет, сеньора! Но

если вы будете смотреть туда — я, на основании собственного опыта, чувствую, что костры сейчас же загорятся...

Носилки уносят. На виду — два мальчика и девочка; сложили костер из сухих трав и сучьев. Спорят.

Первый мальчик. Я буду палач...

Второй мальчик. Нет, я!

Первый мальчик. Да-а... (*Плаксиво.*) Ты всегда себе самое лучшее. Король — ты, палач — ты...

Офицер алгуасилов. Вы, там! Тише! Не видите: король сейчас...

На балконе два паж — открыли двери и стали по сторонам. Медленно выходит король Филипп II, с ним рядом — невеста, принцесса Елизавета Французская, и свита.

Толпа. Да здравствует король — роль-о-о-о! (*Гул.*)

Король делает знак рукою. Толпа затихает. Король невнятно бормочет что-то.

Толпа. Что — что он сказал? — Что такое усердие к вере... — Невеста-то! Ах, бедненькая! — Ну, я хотела бы... — Он сказал, что каждому из присутствующих будет выдано из королевской казны... — Что за вздор!

В это время король подошел к перилам балкона и увидел Балтасара. Милостиво кивает ему и, полуобернувшись назад, отдает пажу какое-то приказание. Паж вбегает в ложу, где Балтасар и Инеса, и говорит с Балтасаром, показывая рукой вверх. Балтасар и Инеса проходят в дом, появляются на балконе и вскоре вместе с королем и частью свиты скрываются внутрь. Возле башенных ворот раскладывает своей столик торговец прохладительными напитками. Сюда подходят Первый и Второй гранды.

Первый гранд (*торговцу*). Шербет для меня и для этого сеньора. (*Второму гранду, продолжая разговор.*) И вот, сеньор, Его Величество ответил так: «Если бы мой сын оказался еретиком — я бы первый поджег для него костер». Не правда ли: слова, достойные христианина? Естественно, что узнавши о благородном подвиге дон-Балтасара, король... Смотрите, смотрите: кладет ему руку на плечо...

Второй гранд (*недоуменно*). Не понимаю вас, сеньор: серьезно вы это или только в шутку?

Первый гранд. А это: почтить прибытие невесты таким благочестивым и блестящим зрелищем, как аутодафе. По крайней мере, эта француженка сразу поймет, что Испания — единственная страна в Европе, где пекутся не о телах, но о душах...

Проходят. Шествие аутодафе, остановившееся, пока говорил король, снова двинулось. Группа духовенства в траурных ризах. Герцог Медина Сэли со знаменем инквизиции. Служители инквизиции с украшенными серебром черными палицами. За ними — осужденные на сожжение живьем еретики: они в желтых «Сан-Бенито», в колпаках, расписанных изображениями

бесов и языков адского пламени. В руках у них зеленые зажженные свечи, каждого сопровождают солдат и два монаха. Монахи, горячо жестикулируя, негромко увещают еретиков. Впереди всех еретиков гордо идет, улыбаясь, очень красивая молодая женщина.

Торговка (*на табурете, размахивая руками*). Эй, вы! Бросьте увещать эту ведьму! Ослепли, что ли? Она вам в глаза смеется. Пусть ее сожгут живьем!

Толпа. Улыбается, а? Смотрите! — Ткни ее палкой! — Женщину? Связанную? Ткни сам! — Какая женщина? Это еретичка! — Живьем! (*Напирают на алгуасилов, размахивая руками, палками.*)

Алгуасилы. Назад! Назад! С ума сошли? — Назад!

Толпа. Бей! Живье-е-ем! (*Рев. Рвутся сквозь цепь алгуасилов.*)

Алгуасилы. Назад! — Здесь же король, бараны! — Назад!

Алгуасилы действуют рукоятками алебард. Толпа перестает наседать и постепенно затихает. Из толкотни выбрались Румяный и Желтый со своими дамами.

Румяный (*утираясь*). Ф-фу! Не правда ли, сеньор: отраднo видеть такое христианское усердие в народе?

Желтый. Вполне согласен, дорогой сосед.

Второй гранд (*возле столика с прохладительными напитками. Взволнованно*). Не может быть!

Первый гранд. Да вон же: сзади всех, высокий. Узнаете?

Второй гранд. Святая Дева! Вы правы: он, дон-Родриго... Но как же так... И даже в числе не раскаявшихся...

Первый гранд. Ну, что же: сперва раскаялся, потом раскаялся, что раскаялся... Вот, когда дон-Балтасар опять появится в своей ложе, я хотел бы увидеть, как он... Пожалуй, я предпочел бы быть на месте дон-Родриго!

Второй мальчик (*толкает девочку на костер из травы и сучьев*). Ну, лезь же! (*Первому мальчику*.) А ты поджигай! Так! Эх, вот весело!

Девочка (*босая, огонек костра обжигает ей ноги. Она вскрикивает*). Ой, больно! (*В недоумении*.) Неужели и тем так нее?

Второй мальчик. Глупая: видно, что девчонка! Они же мужчины.

Девочка. Ну, если мужчины — так и становись сам! А я не хочу.

Румяный (*умленно*). Милые дети! Как жаль, что мы не взяли своих! (*Исчезает в толпе*.)

Осужденных на сожжение живьем вводят на квемадеро и ставят на колени перед кострами, спиной к толпе. Король выходит на балкон. Внизу, в ложе появляются Балтасар и Инеса; Балтасар беспокойно озирается, увидел Рюи, выпрямился, как шпага, встал перед Инесой, чтобы заслонить от нее квемадеро.

Первый гранд (*Второму*). Смотрите, смотрите: дон-Балтасар уже увидел. Ручаюсь вам — сейчас произойдет что-нибудь такое...

Второй гранд. Сеньор, не лучше ли нам уйти?

Первый гранд. Нет, нет: я всякий роман дочитываю до конца, а здесь не книги — живые люди...

Шествие продолжается. Группа раскаявшихся: в руках у них зеленые потушенные свечи, на колпаках языки пламени острием вниз. Возле них монахи, читающие молитвы: непрерывное монотонное жужжание. Дальше на длинных зеленых шестах доминиканцы несут чучела еретиков, умерших в тюрьме: у соломенных, прикрытых рваной материей, чучел — огромные выпученные глаза из смолы, покрашенные суриком губы. Ноги — легкие, и чучела все время пляшут в воздухе судорожный танец. За ними гробы с прахом умерших еретиков; гробы прикрыты желтыми покрывалами; на покрывалах красные языки пламени. Шествие замыкается инквизиторами в фиолетовых одеяниях, под охраной. Инквизиторы поднимаются на эстраду.

Офицер алгуасилов (*объясняет девушке*). Это? Это — изображения умерших еретиков и вынутые из могил гробы с их прахом.

Девушка. А впереди?

Офицер алгуасилов. Те, что с потушенными свечами? Это — раскаявшиеся.

Девушка (*разочарованно*). Как? Значит, их уж не сожгут?

Офицер алгуасилов. О, не беспокойтесь, сеньора, сожгут. Но церковь милосердна к раскаявшимся: их сперва повесят, потом сожгут. Так что, красавица, если и вы согрешите, а потом покаетесь... Нет, правда, знаете что: как только это кончится... (*Обнимает девушку за талию и шепчет ей на ухо.*)

Торговка (*на табурете*). Чучела, чучела-то, глядите! Распльсались, как висельники! А, а! Ногами-то! Прямо — сарабанда!

Толпа. Что, не терпится самой поплясать с ними? — На, вот у меня кастаньеты... — Поднимай ее на шест, поднимай!

Торговку поднимают вверх, она кричит и отбивается. В это время на эстраде инквизиторов Мунебрага встает с своего кресла; в руках у него лист бумаги.

Алгуасилы. Тише! — Эй, вы, заткните глотки! — Тише!

Мунебрага (*читает торжественно среди внезапно наступившей тишины*). Властью Апостольскою и нашей, согласно постановлению Святого Трибунала, мы объявляем: все доставленные сюда под стражей — передаются в руки светской власти, чтобы с ними поступлено было согласно закону. Именем Бога Всемогущего и Господа Иисуса Христа, мы молим и заклинаем отнестись к осужденным великодушно, кротко и милосердно...

Голос толпе. Слыхали! Знаем мы ваше христианское милосердие!

Идальго, похожий на дон-Кихота, как коршун кидается в толпу и вытаскивает оттуда крестьянского парня в широкополой шляпе.

Идальго, похожий на дон-Кихота. Алгуасилы, сюда! Вот этот!

Несколько алгуасилов бросаются ему на помощь. Толпа с криком раздается в стороны и трусливо жмется. Арестованному скручивают руки и уводят его.

Мунебрага (*торжественно*). Ваше Величество, — клянётесь ли вы крестом шпаги, на которую опирается ваша рука, — клянётесь ли вы поддерживать Святую Инквизицию в ее борьбе с еретиками и доносить нам о всех действиях и словах их, которые дойдут до сведения Вашего Величества?

Король (*встав и целуя крест на рукояти шпаги*). Клянусь!

Мунебрага (*оборачивается к толпе*). Вы слышали? И всякий истинный сын Церкви и подданный нашего доброго короля должен немедленно явиться к нам и донести обо всех еретиках, которых знает. Клянётесь ли вы все?

Толпа (*нестройно и жидко*). Клянемся!

Желтый (*тихо — жене, оглядываясь на Идальго, похожего на дон-Кихота*). Я, кажется, недостаточно громко... Боюсь, он не слышал. (*Очень громко, вытянувшись и привстав на носках*.) Клянусь! (*В толпе смеши, показывают на него пальцами; он смущенно оглядывается*.)

Монахи на квемадеро возле осужденных торопливо уговаривают их: есть еще несколько минут; воинственно машут распятиями. Слышен злой крик: «Да кайся же, говорят тебе!» Часть осужденных палачи ведут куда-то в овраг за квемадеро.

Толпа. Куда их? — В овраг: там виселица. — Пойдем туда! — Нет, тогда тут прозеваешь: я больше люблю костры... — Глядите: факелы уже! Сейчас...

К кострам подходят угольщики с факелами наготове. Первого из осужденных на открытой части квемадеро привязывают к столбу сзади костра. Других вводят внутрь статуй апостолов и с лязгом захлопывают двери.

Первый гранд (*Второму*). Смотрите, смотрите: в той же ложе, где дон-Балтасар, костры уже загораются. Вы видите его лицо? Пламя уже лижет ему ноги.

Второй гранд. Довольно вам шутить, сеньор!

Первый гранд. Я не шучу. Его лицо — вы видите его лицо?

Женщина на квемадеро (*перед статуей апостола крепко уперлась ногами, не идет. Вскрикивает*). Я каюсь! Я не хочу! Я каюсь. (*Ее уводят в овраг*.)

Толпа (*удовлетворенно*). Ага-а!

Старуха с клюкой (*протискиваясь в толпу*). Ой, что же это? Ой, дорогие мои сеньоры — пропустите!

Офицер алгусилов. Ты что, старуха, кричишь? Чего тебе?

Старуха с клюкой. Ой, сеньор алгусил, красавец мой! Пропустите меня, старуху, вперед! Ведь последний раз в жизни взгляну, как будут жечь собак неверных... (*Пролезла*.) Ох, слава Тебе, Святая Мария, Милосердная Дева! Ох, в последний раз ведь...

Толпа. Не бойся, бабушка, не последний раз: еще в пекле с ними встретишься! (*Смех*.) — Тише, тише: еще один кается... еще один кается... Вон, вон: который руку поднял...

Осужденный на квемадеро (*громко, подняв руку*). Я ка-

юсь! Я каюсь в том, что раньше не покинул эту Церковь, где вместо Христа — палач, а вместо Бога...

Мунебрага (*указывая пальцем, кричит*). Наденьте ему гаг! Гаг! Скорей! Чего же вы смотрите, ротозеи?

Палачи кидаются к осужденному, надевают ему на рот гаг, торопливо привязывают к столбу сзади костра.

Первый гранд (*Второму*). Ах, если бы можно было надеть гаг — сразу на всех испанцев! Подумайте, ничей слух не оскорбляли бы такие вот — неудобные — слова. Вернейший способ!

Второй гранд (*с сердцем*). Сеньор, неужто и на смертном одре вы будете вот так же шутить и будете...

Первый гранд (*схватив Второго за руку*). Смотрите, смотрите!

На квемадеро палачи подходят к последнему из осужденных, еще стоящему перед костром на коленях, и берут его под руки. Это — Рюи. В ложе — Балтасар, крепко вцепившись в баллюстраду руками, весь перегнувшись туда, к квемадеро. Инеса сидит, низко опустив голову, закрыв глаза.

Рюи (*на квемадеро — вырвавшись от палачей и подбежав к краю*). Вы! Рабы! Вы спокойно смотрите, как эти, смеющие называть себя христианами...

Инеса (*после первого же слова Рюи как бы проснулась, вскочила, секунду дико смотрит на квемадеро*). Рюи! Рюи!

Рюи остановился, обернулся к ложе. Раскрыл рот — что-то сказать Инесе. Но на него сзади уже накинулись и надевают ему гаг. Вскочил и что-то кричит Мунебрага. Инеса обеими руками схватила за плечо Балтасара и трясет его. Смятение в ложах, в толпе. Балтасар и еще несколько человек из соседних лож схватывают Инесу и уносят ее вниз — через толпу — к башенным воротам.

Инеса (*отбиваясь*). Пусти! Пустите, говорю вам! Я хочу к нему!

Балтасар (*крепко держит ее*). Инеса...

Инеса (*отогнувшись назад в руках Балтасара и как будто только увидев его*). А-а, ты? Так ты обманул меня? Ты заставил меня обмануть его? Предатель! Не смей меня трогать! — пусти! Нет? нет? (*Вытаскивает из корсажа кинжал и ударяет Балтасара.*)

Балтасар. Благодарю... (*Медленно оседает на землю.*)

На квемадеро уже курится дымок. Место происшествия заслоняет густая толпа; возбужденный гул голосов; вытягиваются на цыпочках, стараются заглянуть через плечи стоящих впереди. Желтый и Румяный с женами — в стороне от других, направо.

Желтый. Оттуда, с оврага, ветер: чувствуете? Еще насморк, пожалуй, схватишь. Идем домой. (*Уходят.*)

ЗАНАВЕС

КИНОСЦЕНАРИИ

СЕВЕР

На Крайнем Севере России, на берегу Ледовитого океана — маленький рыбацкий поселок. Некоронованный король здесь — Корторма, владелец единственного в поселке «универсального магазина» и маленького селедочного завода. С виду добродушный — похожий на медно сияющий русский самовар, — он на самом деле жесток. Все у него в долгу, и женщины поселка часто платят ему долги «натурой». Жена Кортормы, которую он уже давно разлюбил, — все еще не перестает обожать его. Любовницы Кортормы проходят через ее руки, она сама передевает их в чистое белье, чтобы они в достойном виде попадали к Корторме...

В рыбацьем поселке — событие: пришли кочевники-лопари. Прежде всего они, конечно, появляются в лавке Кортормы, чтобы выменять свои меха на товары. Среди лопарок бросается в глаза красивая рыжая девушка Пелька. В ответ на свои бесцеремонные ухаживания Корторма получает от нее жестокий удар железной линейкой.

Праздник. Призрачная, жемчужная северная ночь с незаходящим солнцем. Вокруг костров на лугу собрался весь поселок и приезжие лопари. Молодежь танцует под балалайку. Корторма, важничая, рассказывает были и небыллицы про далекий Петербург, про петербургские чудеса, где даже в зимние ночи светло как днем, потому что на каждой улице горит огромный фонарь... Широко раскрыв детские глаза, слушает его молодой рыбак Марей — гигант с примитивной душой необузданного мечтателя. Рыжая лопская красавица Пелька подошла к Марею, зовет его танцевать: он только с досадой отмахивается от нее:

— Не мешай слушать...

Тогда Пелька приглашает танцевать обрадованного Корторму...

Уже близится осень, начинается лов рыбы. Марей обнаруживает, что ночью кто-то срезал крючки на его сетях. По-видимому, это сделал из мести приказчик Кортормы, недавно оскорбленный Мареем. Марей решает выследить вора и на третью ночь действительно видит какую-то человеческую фигуру, подплывающую в лодке к его сетям. Погоня Марея кончается поимкой вора, но воровым этим, к его изумлению, оказывается рыжая лопская девушка Пелька...

Сначала Марей ничего не понимает, затем что-то смутно начинает соображать, рыжая красавица не выходит у него из головы. Сле-

дующая его встреча с ней происходит в лесу, куда Марей пошел на охоту. Пелька — тоже с ружьем. Едва только эта бешеная дикарка увидела его, она подняла ружье и выстрелила в Марая. Промах! Марей кидается к ней — в руках у нее нож. Марей удаётся повалить ее на землю, вырвать у нее нож. И вдруг он чувствует ее руки на своей шее, ее губы на своих губах...

Ненависть Пельки к Марей была, конечно, только обратной стороной ее оскорбленной гордой любви. Теперь она остается с Мареем, когда ее племя на зиму уходит кочевать к югу. Тяжкая полярная зима, не освещенная ни единым солнечным лучом в течение долгих месяцев, проходит для любовников как одна счастливая ночь. И такое счастливое идет лето. Марей бродит с Пелькой в лесу, он ушел из рыбацкой артели, чтобы быть с нею вдвоем. Они живут охотой, спят в лопарской палатке.

Но вот уже кончается короткое северное лето: надо из леса возвращаться в зимнюю избу, в поселок, к людям. Пелька боится этого, ей кажется, что Марей уже не так полон ею, как раньше. И ее опасения скоро оправдываются: мечтателю Марей пришла в голову безумная фантазия — построить для поселка огромный фонарь, «такой же в Петербурге», чтобы осветить темную полярную ночь. Хитрый Корторма охотно дал ему в кредит все нужные материалы — и Марей весь ушел в работу. Пелька забыта: она теперь только жена, стряпуха...

Давно влюбленный в Пельку и разожженный ее недоступностью Корторма пробует теперь использовать положение и начинает настойчиво ухаживать за рыжей лопской красавицей. Все идет как будто хорошо, Пелька поощряет его ухаживания. Но когда Корторма, оставшись вдвоем с нею, пытается дать волю своей страсти, Пелька, к его удивлению, едва не убивает его острой. Для Корторма остается непонятным, что Пелька только хотела разбудить ревность в Марее, но — тщетно.

Корторма, как и всякий год, перед Рождеством отправляется в Норвегию с товарами, а на праздниках устраивает вечеринку для всего поселка. Приказчик Корторма передает Пельке и Марей приглашение от Корторма и, кроме того, подарок от Корторма Пельке — нарядное зеленое платье. Одетая в это платье, Пелька становится еще красивее. Но тот, для кого она оделась, — Марей не замечает ничего: он увлечен работой.

Пелька идет на вечеринку к Корторме одна. С отчаяния она пьет, пляшет. Жена Корторма, по его приказу, готовит в комнате наверху постель — и туда Корторма уводит свою добычу — Пельку. Приказчик Корторма начинает шантажировать Пельку: если она не пойдет теперь с ним, он завтра же все расскажет *Марей*.

Пелька не только не пугается его угроз, она как будто даже сама провоцирует его на это.

Наутро приказчик с издевкой посвящает Марeya в то, что произошло на вечеринке.

— Правда, Пелька? — спрашивает Марей.

— Правда, — отвечает она.

Марей бросил работу, вот сейчас он кинется к Пельке, ударит, может быть, убьет. Она ждет, трепещет. И вдруг Марей рассмеялся: ну, конечно же, и приказчик, и Пелька шутят. Но ему не до шуток: надо кончать работу, завтра он зажжет свой фонарь...

Мечта Марeya наконец реализована: его фонарь, «как в Петербурге», зажжен. Поднятый на высокий столб, он одиноким жалким огоньком мигает в полярной ночи, и, когда Марей пытается усилить давление в трубке, подающей горючее, — все сооружение разлетается вдребезги. Разгневанный неудачей, забросанный насмешками, как камнями, Марей идет к своей избе, чтобы забиться туда, как раненый зверь забивается в свою нору. Из всей толпы одна Пелька идет за ним — к изумлению Кортотомы, который был уверен, что теперь-то уж Пелька окончательно принадлежит ему, Кортотоме.

Марей и Пелька — снова вдвоем. Они работают, охотятся, как прежде. Но душа их прежней жизни — любовь — уже убита. Пелька не хочет и не может жить так.

Однажды в начале осени, когда в лесу появились медведи, Пелька уговорила Марeya пойти на охоту. Привычный охотник — Марей спокойно подпустил медведя совсем близко и только тогда выстрелил, целясь в сердце. Промаха быть не могло — и все же медведь не упал, а разъяренный кинулся на охотников.

Марей сейчас же понял: вместо пули, как было нужно, Пелька нарочно зарядила ружье дробью. Сама в последний момент испуганная тем, что она сделала, Пелька крикнула Марeya, чтоб он бросился ничком на землю и притворился мертвым: медведь не трогает трупов, он обычно зарывает их. Пелька не ошиблась: обнюхав лежащих рядом, крепко обнявшихся людей, медведь начал забрасывать их землей, хворостом. Потом сам сел сверху этой импровизированной могилы и начал лизывать свою рану. Задохнувшиеся под его тяжестью люди не шевелились: все было для них кончено. Медведь слез и побрел в берлогу...

ОДИННАДЦАТЬ И ОДНА

Полярная метеорологическая станция на островке — на Крайнем русском Севере. Пароход приходит сюда только раз в год — летом, чтобы сменить работающих на станции — на целый год люди здесь отрезаны от мира.

Их немного: заведующий станцией и его жена — радиотелеграфистка, восемь человек служащих и кривой самоед Хатанзей. И еще полноправные граждане этой маленькой станции — несколько собак. Как и люди, каждая из них имеет свою индивидуальность; одна из них — ее кличка Девочка — общая любимица.

Полярная зимняя ночь уже скоро кончится. Зиму эту прожили хорошо, дружно. Отдельная от всех своя жизнь идет только у заведующего станцией и его жены, Елены (он называет ее Эльфой): они — молодожены, для них эта полярная ночь светла и тепла.

Молодой женщины все немножко сторонятся и побаиваются, хотя она наравне со всеми участвует в работах и охоте. Однажды во время охоты на моржей несколько человек, в том числе Эльфа и самоед Хатанзей, были унесены в океан на оторвавшейся льдине. Вышли налегке, на льдине им грозила прежде всего опасность замерзнуть. Эльфа посадила одного человека в середину, а остальных заставила плясать кругом. Плясали и отдыхали по очереди — и таким образом согрелись, пока высланный со станции катер не догнал льдину. Люди были спасены. Эльфа после этого стала товарищем. И больше — другом она стала, когда отходила, отвоевала у смерти нескольких заболевших цингой.

Но каждый вечер этот товарищ и друг превращался в женщину, когда Эльфа и ее муж уходили в свою комнату спать. Они уходили раньше всех, остальные еще сидели в «кают-компании», читали, играли в карты. Из комнаты, куда ушли двое, иногда слышался смех, еще какие-то звуки... Кто-то из сидящих в «кают-компании» бросает игру, прислушивается...

С утра, еще в темноте — голос радио из Москвы. Все вставали, под команду радио делали гимнастику. За утренним завтраком еще стеснялись почему-то смотреть на Эльфу. Потом это проходило, она опять из женщины становилась товарищем. Роль радио в этом маленьком мире — вообще огромна: это — единственная связь с осталь-

ным миром, по радио получают новости, по радио идет переписка с близкими, по радио из Архангельска врач лечит больных...

Однажды утром Эльфа выбежала наружу, чтобы обтереть свежим снегом лицо (она это делала каждый день). Когда она взяла в руку горсть снегу — она испугалась и бросила снег: он был красный как кровь. Потом увидела, что и все было красное кругом: это была первая полярная зоря, солнце, начало весны.

У всех — языческая радость с появлением солнца и одновременно — что-то неладное, какая-то тоска, тревога. Это настроение еще усиливается драмой, разыгрывающейся на глазах у всех (вернее, во всеуслышание) по радио: радиотелеграфист одной из соседних полярных радиостанций получает радиограмму от своей невесты, что она выходит замуж за другого, он шлет ей отчаянные послания, грозит покончить с собой... Все это принимается по радио и здесь, на метеорологической станции, читается вслух, все напряженно ждут развязки... Члены этой маленькой колонии начинают усиленную переписку по радио со своими женами и возлюбленными, мировой эфир пропитан любовными словами. Наконец, один из мужчин венчается со своей невестой гражданским браком («записывается») — невеста живет в Архангельске. Устраивается свадебное празднество, самоед Хатанзей поет свои самоедские свадебные песни и пляшет, «молодого» поздравляют. А потом, ночью, он лежит один и рыдает...

Ночью — тревога, неистовый лай собак. Все выскакивают: должно быть, белый медведь! (Один раз во время полярной ночи это уже было — голодный медведь ломился в дом.) Выбежали наружу — оказывается, собаки перегрызлись из-за общей любимицы — Девочки, один из псов лежит на снегу загрызенный насмерть...

Заведующий станцией пытается отвлечь своих подчиненных от навязчивых мыслей играми на воздухе, «физкультурой», состязаниями. Устроены бега, в которых принимает участие и Эльфа. Матрос догнал ее, обхватил, падает вместе с нею, лежит, не выпуская ее из объятий. Заведующий прикрикнул на него, он встал. Но все смущены, игры и состязания прекратились.

А день все прибывает, солнце, как безумное, кружится по небу, ночи нет, с невероятной быстротой вылезает трава, распускаются полярные цветы, в комнате у заведующего роза в горшке — «сошла с ума», как он выражается. И наконец — чудо: появилась муха! Ее берегут, ею любят. Затем — другая, и вот уже — мушиная пара...

Матрос уже давно возился с каким-то обрубок дерева. Вечером, когда Эльфа с мужем ушли к себе, матрос с торжеством вытаскивает недурно вырезанную им из дерева женскую фигуру. «Деревянная Маша!» — смех, грубоватые шутки. «Деревянная Маша» становится членом колонии, вся «кают-компания» каждый вечер ведет с нею любовную игру, когда заведующий с женой уходит к себе. «Деревянная Маша» все более оживает, из-за нее начинаются ссоры, сначала шу-

точные, но однажды дело кончается настоящей дракой. Заведующий выходит на шум из комнаты, отбирает «Деревянную Машу». Вслед ему чья-то реплика:

— Да, тебе-то хорошо...

Все шумной гурьбой идут из «кают-компаний» наружу. Там — белый «ночной день». Сбившись в кучу на камнях, на берегу океана о чем-то взволнованно спорят — о чем, неслышно: заглушает шум прибора. Поднимают руки: голосуют какую-то резолюцию.

Наутро матрос и двое других приходят к заведующему станцией и сообщают ему решение колонии: все у них — общее и всего они получают поровну, а жена — у него одного; это несправедливо — они постановили, что и жена должна быть общей... Заведующий принимает это за шутку: нет, какие там шутки! Он выхватывает револьвер, но матрос деловито останавливает его:

— Ну убьешь одного, двоих, ну, троих, а остальные все равно с тобой справятся и ее возьмут себе. Уж лучше давай миром, по справедливости...

Ему дается срок подумать до вечера.

Он и Эльфа вдвоем сидят, запершись, у себя... Бежать? Некуда. Что же делать, что делать? День идет, вечер все ближе... По радио передается какая-то веселая музыка, затем — неумелая, путаная радиограмма с соседней станции: развязка романа радиотелеграфиста, известие о том, что он покончил с собой. Елена принимает эту радиограмму. Муж дает Эльфе револьвер, он считает, что единственный выход для них обоих — это смерть. Но Эльфа не в состоянии представить себе, что он перестанет жить, и она еще хочет жить сама. Она проекает мужу передать, что она согласна, — уже наступил срок, уже стучат в дверь. Муж отказывается, тогда она открывает дверь и объявляет о своем решении сама.

Остальные члены колонии уже успели бросить жребий, очередь установлена. Сегодняшняя ночь достается как раз одному из тех, кого Елена спасла от цинги. Он уходит с ней в комнату заведующего, а заведующему предлагают занять освободившуюся в общем помещении кровать. Он, ничего не отвечая, уходит из дому, всю ночь бродит в муках ревности по острову. Несколько раз он возвращается к дому, останавливается перед окном своей комнаты, где сейчас опущена темная штора...

За утренним завтраком все встречаются. Заведующий пытается прочитать на лице жены, что было ночью, но Эльфа — спокойна, даже весела. Она шутит. Она ничего не говорит мужу, когда они остаются вдвоем, а ему страшно спросить ее. Так проходит день, снова наступает мучительный вечер и ночь, и опять — утро, и опять — молчание между Эльфой и ее мужем. Елена, видимо, не спала всю ночь, глаза обведены тенью, у себя в комнате она падает на кровать и засыпает как убитая; муж сидит возле нее, не спуская с нее глаз.

Новое собрание колонистов, после которого к заведующему снова отправляется депутация — те же трое. Когда они постучали в дверь, заведующий станцией дико кричит:

— Довольно! Не пушу! Никого не пушу! — потом стреляет из револьвера сквозь дверь. Эльфа, проснувшись от криков и выстрела, выхватывает у него револьвер, муж выкрикивает ей в лицо оскорбления — она такая же, как все, она еще хуже...

Эльфа открывает дверь. Входят трое. Матрос говорит заведующему:

— Ты уж извини, мы не знали, что она такая...

Заведующий кричит:

— Я тоже не знал, а теперь — знаю!

Матрос:

— Мы, понимаешь, не знали, что такие женщины на свете бывают... Мы ведь ее не тронули, понимаешь? Этому делу — конец, ты уж прости нас...

<1929>

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ГУНТОНА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Том Дрэри — молодой углекоп, коммунист.

Джек Гартли — углекоп, член тред-юнионистского «Лоджа», позже — надзиратель копей.

Джим Тротэр — пожилой углекоп, старшина участка копей.

Билл Уотсон — старый углекоп, председатель тред-юнионистского «Лоджа».

Салли — его жена.

Синтия — его дочь.

Джемсон — инженер, управляющий копиями Гунтона.

Доктор копей.

«Дэвон» — слепая лошадь в копиях.

Углекопы, их жены и дети.

Толстый полицейский Стомак и другие полицейские.

Два джентльмена — представители хозяев Гунтона.

Две леди.

Судья, секретарь суда, приезжие, адвокат Пэрли. Публика в суде.

ЧАСТЬ 1

Шахта. «Клетка» выбрасывает на поверхность углекопов: работа кончена.

Проходят: Том Дрэри, Джим Тротэр; возле инженера Джемсона — услужливый Гартли.

Дома у Билла Уотсона: он только что вернулся из соседнего городка, где работает «Лодж» тред-юниона. Обедает — с женою и Синтией. Входит Том: Уотсон сообщает ему, что завтра — выборы секретаря «Лоджа», выставлены будут две главные кандидатуры: Том Дрэри и Джек Гартли. Уотсон советует Тому баллотироваться: жалование секретаря — хорошее, работа в шахте — для секретаря необязательна, и, наконец, у него будет возможность не откладывать больше женитьбу на Синтии. Том соглашается выставить свою кандидатуру, но не ради жалования или карьеры, а ради того, что положение секретаря «Лоджа» увеличит его влияние на рабочих. Положение в копиях Гунтона — серьезное: уголь пошел мягкий, увеличивалась производительность... «Ну, так что же?» — «А то, что хозяева хотят поэтому уменьшить потонную плату. И, кроме того, хотят перейти на «сплошную» выемку угля, вместо выемки «столбами», а это при мягком угле — грозит обвалом».

Выборы секретаря: углекопы, перед спуском в шахту, кладут свои листки в опечатанный железный ящик. Борьба двух кандидатов — Тома и Гартли.

Уотсон спускается в копи, осматривает: в последних ходах — действительно, уголь очень мягкий, время от времени слышны «выстрелы» — треск оседающих сверху пластов, сыплется угольная пыль, вздрагивает слепая рудничная лошадь «Дэвон». Наверху идет подсчет голосов. Секретарем выбран Том; Гартли, затаив злобу, поздравляет его.

Вывешено объявление о снижении расценок и о переходе на «сплошную» выемку угля. Волнение среди шахтеров; митинг; выступает вновь избранный секретарь «Лоджа» — Том, затем — Гартли. Гартли предлагает уладить конфликт, обратившись в Соединенный комитет (комитет составлен из одинакового числа представителей от рабочих и хозяев и «независимого» председателя, голос которого

обычно и решает дело). Резолюция митинга: послать представителями в Соединенный комитет Гартли и Тома и, если комитет подтвердит снижение расценок и «сплошную» выемку угля, — начать забастовку.

На заседании Соединенного комитета Гартли передает углекопов: когда председатель спрашивает его, действительно ли опасна «сплошная» выемка, как это утверждает Том Дрэри, — он отвечает отрицательно. Комитет утверждает снижение расценок.

После заседания на улице Гартли подходит к Тому, Том отталкивает его: сейчас начнется драка. К ним подходит толстый, неуклюжий полицейский Стомак. Они спускаются по переулочку к реке. Полицейский осторожно идет за ними. Гартли — Тому: «Надеюсь, ты помнишь правило: все, что говорилось на заседании комитета, должно сохраняться в тайне». Том, в ярости, кричит, что таких, как Гартли, нужно убивать и он, Том, сделает это — хотя бы ему пришлось потом болтаться на виселице. Полицейский Стомак это слышит.

ЧАСТЬ 2

Свадьба Тома и Синтии состоялась. Вечер; они — дома; вдвоем, но Тома ничего не радует: забастовка тянется уже месяц, углекопы начинают голодать, хозяева грозят локаутом.

Прибегает Джим Тротэр — за Томом: на берегу Тайна идет собрание бастующих. Гартли подбивает их пойти и «по-своему разобраться» с управляющим копиями Джемсоном; это — явная провокация, чтобы дать повод к локауту. Том появляется на собрании, убеждает углекопов не поддаваться на провокацию; его перебивают. Тогда он, не выдержав, начинает рассказывать о поведении Гартли на заседании Соединенного комитета. Гартли перебивает Тома; если так — так пусть все знают, почему хозяева начали поход против рабочих: это наказание за то, что секретарем «Лоджа» выбрали коммуниста.

Крик, шум, Тома больше не хотят слушать. Гартли кричит, что, вдобавок, и коммунист-то это маргариновый: рабочие хотят «по-настоящему» поговорить с Джемсоном, а Том — трусит. Крики: «Верно, Гартли!» В бессильной ярости Том выхватывает нож, Тротэр вовремя удерживает его руку, уводит его. Углекопы, под предводительством Гартли, врываются в контору копей: Джемсона там нет. Гартли предлагает спросить по телефону, дома ли Джемсон, и, если дома, — пойти туда. Общее одобрение. Гартли из телефонной будки звонит Джемсону, а затем — полиции. Потом выходит и сообщает: «Джемсон дома! Теперь он от нас не уйдет!» Толпа бежит, распугивая гуляющих, по главной улице, по полю, Гартли несут на плечах. Впереди — темнеет арка железнодорожного моста, сейчас за нею — дом Джемсона.

В темноте под аркой Гартли вдруг исчезает. Толпу встречают Том

и Тротэр, они кричат: «Стойте!», но толпа уже не слушает их, бегут вперед — и за поворотом натыкаются на отряд пешей и конной полиции. Свалка, избивание резиновыми дубинками. Углекопы бегут. Отдельных полиция задерживает, записывает их адреса и отпускает. В числе задержанных — яростно отбивавшийся Том. Утром, дома — Том в синяках, в компрессах; Синтия заботливо ухаживает за ним. Приносят повестку: Том привлечен к суду «за мятежное собрание, причинение страха подданным его величества и нанесение ударов официальным лицам». Тому делается сначала горько, потом смешно: он весь в синяках — и его же обвиняют в «нанесении ударов»! Он хочет.

ЧАСТЬ 3

Углекопы сдались. Забастовка проиграна, они приступают к работам по пониженной расценке. Угрюмо они собираются к Гунтоновской копи, начинается «жеребьевка» — распределение участков в шахтах. Четверо надзирателей сидят за столом в конторе: они будут производить жеребьевку. Один из четырех — новый: это — Гартли, назначенный надзирателем в награду за предательство. Том вносит в контору четыре мешка с номерками для жеребьевки, увидел Гартли, побледнел, крикнул в лицо ему: «Негодяй!» — выбежал, чтобы сообщить углекопам новость.

Теперь углекопам ясно, что такое Гартли. Среди них — волнение, некоторые кричат, что надо отказаться от жеребьевки, пока там сидит Гартли. Но потом вспоминают, что они пока — побежденные, и подходят к окошку конторы — брать номерки.

Тем временем надзиратели, опорожнив мешки, пересчитывают номерки. Гартли, улучив момент, зажимает в руке номерок с цифрой 99.

Номерки пересчитаны. Рука за рукой протягивается в окошко, вытаскивает из мешка номерок, показывает его надзирателям, потом берет себе. Том вытащил номерок, Гартли будто нечаянно толкает его руку, номерок, вытасканный Томом, падает на стол, а Гартли подсовывает ему заготовленный им — с цифрой 99.

К середине дня жеребьевка закончена, и углекопы идут уже начинать работу на новых участках. Надсмотрщик осматривает лампу Тома — ее номер 2209, Том получает кирку — и отправляется вместе с другими.

99-й участок. Подпоры — частично прогнувшиеся от тяжести сверху: кровля — в трещинах. Том пробует уголь — он совсем мягкий. Входит Джим Тротэр — он старшина в этой части копей, осматривает участок, пробует уголь, качает головой. Вдруг — треск — «выстрел». Тротэр говорит, что он должен сказать надсмотрщику, что участок — опасный: пусть он придет и освидетельствует. Том: «Кто здесь надсмотрщик?» Тротэр: «Здесь Гартли»... Том: «Не желаю я видеть Гартли! Не могу!» Откатчик погоняет слепую лошадь «Дэвон» с

вагонеткой — к участку 99. Перед самым входом лошадь заупрямилась, дрожит, не хочет идти. Тротэр выглядывает, возвращается к Тому: «Плохи дела... «Дэвон» не хочет идти сюда. Эта лошадь работает в копи уже двадцать лет, у нее чутье — лучше, чем у нас. Я иду к надсмотрщику — я обязан сказать ему». Том еще раз осматривается кругом, спрашивает Тротэра: каких размеров здесь столб угля? Тротэр отвечает, что толщина небольшая, дальше начинается старый заброшенный штрек, ведущий к «Бэнтамову выходу». Том садится закурить, потом начинает работу.

В конторе — Гартли, выслушав Тротэра, берет свою лампу (ее номер — 1957) и идет на 99-й участок. Там он начинает издеваться над Томом: «Что? Струсил? Хочешь удирать с участка?» Разговор их вот-вот перейдет в драку, как вдруг опять треск — «выстрел», Гартли вздрагивает, пугается к выходу. Том: «Ага! Вот кто настоящий трус!» Гартли останавливается. Треск переходит в сплошной гул, и Том и Гартли — оба застыли на секунду... Дождь угольной пыли, кусков угля, камня, дерева: обвал... Оба они засыпаны, погребены в 99-м участке...

<ЧАСТЬ 4>

Наверху в это время уже сумерки, закрываются магазины, люди идут домой, на улице — оживленно, весело. Синтия ждет Тома, накрыла стол к обеду.

Известие об обвале быстро распространяется по всем участкам копей: паника, все торопятся наверх. Тротэр вызывает добровольцев для работ в спасательном отряде — откапывать засыпанных. В шахту спускается управляющий Джемсон.

Том и Гартли — вдвоем в своей могиле стоят оцепеневшие. Гартли дрожит, ему кажется, что он уже задыхается, он просит у Тома воды. Том дает ему свою фляжку, Гартли начинает жадно пить, не отрываясь. Том кричит: «Довольно» — и отбирает у него фляжку: это — единственный запас воды у них. Вода и керосин в лампах — это для них теперь самое драгоценное: без воды — долго не прожить, и, может быть, еще страшнее оказаться в абсолютном мраке. Том вешает фляжку на место, осматривает обе лампы (еще раз — их номера), затем начинает тщательно исследовать стены их угольной могилы.

Наладив работу спасательного отряда, Джемсон поднимается наверх, в контору, садится за стол, пишет. Контору осматривают репортеры газет, уже узнавшие об обвале.

Синтия ждет Тома. Приходит посланный и вручает ей письмо, она читает. Это — официальное извещение от администрации копей о несчастье, случившемся с Томом.

Обследовав засыпанный выход, Том идет к противоположной стене, останавливается, напряженно размышляя. Вынул коробку с пресованным табаком, нож, отрезает кусок табаку и жует. Гартли сидит в

прежней позе, скорчившись. Вдруг, схватившись за голову, кричит: «Сам! Сам себя... своими руками!» Том спрашивает, не сошел ли он уже с ума. Гартли злобно глядит на него, потом хохочет истерически: «Дурак! Ты думаешь — ты случайно вытащил этот 99-й участок? Я, я подсунул тебе его, чтобы... А вышло — я сам себя... своими же руками!» — «Так это ты... — стиснув в руке нож, Том кидается к нему... остановился, нож упал наземь. — Жаль, что я не убил тебя тогда! А теперь уже не стоит пачкать рук — все равно, скоро...»

Гартли вскакивает: «Нет, нет, я выйду отсюда! Я не хочу!» Том: «Ну, кажется, лучше тебе отсюда не выходить: товарищи уже знают, что ты предал их, а если узнают, что ты сделал со мной...» Гартли, обхватив голову руками, как мешок опускается наземь.

В шахте спасательный отряд работает лихорадочными темпами, но при обвале сверху обрушились каменные пласты, пробиться трудно. Джемсон делает подсчет: чтобы пройти обрушившийся слой, понадобится часов 50, не меньше... засыпанные едва ли выдержат...

Уже ночь, а у входа в Гунтоновские копи — взволнованная толпа шахтеров и местных жителей. Полиция.

Приходит Синтия, поддерживаемая матерью. Перед ними растутаются. Управляющий Джемсон ведет их к шахте. Они стоят наверху, над тем местом, где в глубине под ними погребен Том.

Внизу: Тому вспоминается то, что сказал Тротэр о старом штреке, находящемся за пластом угля. Том решает сделать попытку пробиться к этому штреку и с ожесточением начинает рубить уголь.

Еле держащаяся на ногах Синтия и ее мать выходят из ворот копей. Их окружают репортеры жадной стаей, идут за ними, не отставая. Женщины проходят на телеграф, посылается телеграмма о случившемся Биллу Уотсону — в соседний город.

Том пинком пробует поднять Гартли и заставить его работать, но Гартли не держится на ногах, колени у него подгибаются. Махнув на него рукой, Том продолжает работу один.

Билл Уотсон получил телеграмму. Поездов уже нет. Он нанимает автомобиль и по ночным дорогам, мимо сверкающих огнями далеких заводов, мимо ферм — мчится к Гунтону.

Работа спасательного отряда становится все труднее, камень все тверже. Остановились: совещание Джемсона и Тротэра: камень можно было бы взрывать, но это может вызвать новый обвал, нельзя. А так — ясно, что работы безнадежны. Джемсон: «Не надо говорить об этом... Пусть продолжают... Может быть, что-нибудь...» — махнув рукой, он уходит.

ЧАСТЬ 5

Билл Уотсон добрался до Гунтоновской копи. Быстро переодевается в шахтерский рабочий костюм, спускается вниз. Его встречают отчаявшиеся Джемсон и Тротэр. Камень — почти гранитных пород.

Уотсон что-то обдумывает, берет лампу и начинает осматривать место обвала и соседние галереи.

Том продолжает свою работу. Остановился, вытер нож, пьет воду из фляжки, предлагает Гартли. Тот жадно хватается фляжку, и, когда Том хочет взять ее обратно, — он не отдает, подымает с земли брошенный Томом нож: «Попробуй только подойти... коммунист проклятый!» Том, с презрением взглянув на него, отходит: все равно — воды там осталось на дне. «А керосину в лампе?» Он обстучивает лампу: еще на 3—4 часа хватит — не больше... Надо спешить...

Два представителя хозяев копи (участники заседания Соединенного комитета) — почтенного вида джентльмены с сигарами — в авто подъезжают к Гунтону.

В шахте: осмотр привел Билла Уотсона к выводу, что пласт мягкого угля идет вдоль обвала, и через этот уголь к 99-му участку, к засыпанному — можно пробиться гораздо скорее, чем по тому пути, где работает спасательный отряд. Джемсон возражает: этот путь ему известен, но он слишком опасен, кровля плохая, очень много шансов, что работающих там — засыплет; он, Джемсон, не считает себя вправе предлагать это рабочим. Билл Уотсон готов пойти на этот риск; Джим Тротэр — вызывается идти вместе с ним. Они начинают работу.

В доме Тома Синтия лежит в постели, возле нее мать. К дому подкатывает авто с двумя почтенными джентльменами: они хотят засвидетельствовать соболезнование вдове... т. е. не вдове, а супруге... Синтия кричит матери, что не хочет — не хочет видеть их! Пусть они убираются! Джентльмены оскорбленно пожимают плечами, усаживаются в авто...

Том уже устало, из последних сил, рубит уголь. Вдруг уголь проваливается у него под киркой в пустоту, он лихорадочно расширяет отверстие, просовывает туда лампу... Он пробился! Там — старый штрек!

Билл Уотсон — старый, опытный углекоп: уголь пластами обрушивается под его ударами. Тротэр уговаривает его отдохнуть. Некогда! Надо торопиться...

Автомобиль с двумя джентльменами окружают репортеры. Один из джентльменов охотно сообщает, что они навещали бедную миссис Том Дрэри. Репортеры пишут трогательное интервью.

Внизу: Том обращается к Гартли и предлагает ему пойти за ним в старый штрек, а оттуда — если хватит керосину и если не заблудятся — они могут пробраться к Бэнтамовскому выходу. Гартли: «А если... лампы погаснут? А если заблудимся?» Том — пожимает плечами: «Ну... тогда — конец». Гартли отказывается идти. Том еще раз пробует уговорить его, потом берет свою лампу и исчезает в проходе. Гартли остается — один.

Жутко... Он кидается вслед Тому, потом возвращается обратно: нет, лучше ему не выходить наверх, лучше не показываться там...

ЧАСТЬ 6

Жена Уотсона принесла для него еду. Расспрашивает Джемсона. Джемсон объясняет, что, может быть, Уотсону и удастся спасти засыпанный, но работа, за которую он взялся, — очень опасна: на всякий случай миссис Уотсон должна быть готова ко всему.

Она торопится домой: там у Синтии — доктор. Доктор, осмотрев Синтию, говорит ее матери: «Если там, в копиях, кончится неблагополучно, как-нибудь хоть на время постарайтесь это скрыть от нее: сейчас ей этого не перенести».

В копиях: Том идет в старом заброшенном штреке. Вентиляции здесь нет, лампа от скопившихся газов тускнеет, почти гаснет. Том останавливается, ждет, пока задыхающийся огонек разгорится, споткнулся в полумраке о камень, чуть не уронил лампу, встал, чтобы перевести дух, рука с лампой дрожит, пот градом льет с него.

Пот градом льет с Уотсона — он продолжает работать. Джим Тротэр трогает его за плечо: миссис Уотсон прислала кое-что поесть, он должен подкормиться. Садятся, едят — торопливо.

Два джентльмена из Соединенного комитета играют «сингл» в теннис. Один опускает ракетку, вытирает пот со лба, задумывается. Говорит партнеру: «Знаете, мы здесь играем, а в это время — там, в Гунтоне, может быть... Я предлагаю — прекратить». Садятся, закуривают сигары.

Гартли — один. Ему кажется, что лампа его гаснет, он в ужасе вскакивает, взбалтывая, подносит лампу к уху: нет, керосин еще есть. Опять садится на землю — снова вскакивает: он уже в полубреду, ему чудятся стуки — сейчас ворвутся сюда углекопы, чтобы убить его, предателя. Он хватает нож Тома...

Том уже еле идет — обессиленный, спотыкающийся. Проход сузился, нужно ползти на четвереньках, лампа от недостатка воздуха еле горит. Дальше — открылась большая пещера, в ней — несколько зияющих дыр-штреков. В какой из них пойти? Ошибка — смерть: керосину в лампе уже немного. Высоко подняв лампу, Том делает несколько шагов — споткнулся о брошенную деревянную балку, упал. Лампа лежит на земле, вспыхивает последним, неверным, колеблющимся светом, видно искаженное страхом, взглядывающееся в мрак лицо Тома. Затем — лампа потухает. Мрак...

К джентльменам из Соединенного комитета на теннисный корт приходят две дамы, о чем-то спрашивают их. Один отвечает: «В чем? В том, что в сущности мы, современные люди, — жестокие создания». Дамы начинают играть в теннис, но им вдвоем скучно. Предлагают мужчинам, один из них говорит «нет». Дама: «Не будьте жестоким созданием!» Джентльмен улыбается: делать нечего — придется играть: начинается партия вчетвером.

Уотсон и Тротэр — углубляются все дальше. Теперь, должно

быть, уже недалеко. Уотсон останавливается и пробует стучать, ждет ответа. Нет — ничего не слышно. Снова — за работу.

Гартли замечает, что его лампа — гаснет. Он взбалтывает ее, выкручивает фитиль, на время становится светлее. У него — безумные, дикие глаза. Схватил фляжку, прикладывает к пересохшим губам, но воды — уже нет ни капли. Он разрывает ворот рубашки, ему кажется, что ему уже нечем дышать. Сидит, схватившись за голову, и бормочет: «Сам... сам себя... своими же руками!»

Управляющий Джемсон и доктор копей спускаются вниз — к спасательным работам. Откатчик везет его на вагончике, запряженной слепой лошастью «Дэвон». Джемсон торопит.

Оживилась игра в теннис. Но уже смеркается. Одна из дам: «Какой ужас! Уже темнеет!» Бросают игру.

Лампа Гартли гаснет. Он опять выкручивает фитиль: светлеет.

Уотсон снова опускает кирку, пробует звать, стучит в стенку.

Гартли кажется, что он слышит стук. Снова возникают перед ним бредовые видения, он хватается за нож Тома, мечется в угольной пещере. Останавливается перед лампой и каждую секунду выкручивает фитиль. Стуки со всех сторон, кругом. Не выпуская ножа из рук, он хватается за голову, в отчаянии выкручивает фитиль лампы последний раз, она быстро гаснет. В потухающем свете видна рука Гартли, *<нрзб.>* ножом удобное место на горле — пониже кадыка...

Джемсон и доктор осматривают работы спасательного отряда. Отзывает в сторону старшину. Дело уже безнадежное, у всех опускаются руки... «А как Уотсон?» — «Продолжает работу».

Уотсон делает еще удар — уголь пробивается: он достиг цели. Кричат по очереди в отверстие он и Тротэр: никакого ответа. Странно! Подходят Джемсон и доктор. Уотсон быстро расширяет отверстие. Все взволнованны. Держа лампу в зубах, Уотсон проползает в пещеру. Уотсон — в пещере 99-го участка. Он нагибается надлежащим на полу Гартли, освещая его лампой, — и видит торчащий у него в горле нож — хорошо знакомый нож Тома...

Тем времени Тротэр и другие делают вход в пещеру 99-го участка более широким. Уотсон выходит оттуда бледный, дрожащий. Его окружают, расспрашивают. Он отвечает: «Тома нет. Он, очевидно, ушел в старый штрек». — «А Гартли?» — «Гартли... умер». Тротэр, доктор и другие — вползают в проход и скоро появляются обратно с телом Гартли. Джемсон спрашивает доктора: «Что же это? Самоубийство — или...» Доктор пожимает плечами. Уотсон вскакивает: «Том — в старом штреке: надо спастись его! Кто со мной?» С ним идет Тротэр.

Лошадь «Дэвон» везет по штрекам тело Гартли. Углекопы идут за ним.

Уотсон и Тротэр — снова в пещере 99-го участка; с ними Джемсон. Уотсон увидел лампу Гартли — № 1957. Поднимает ее, осматривает и отдает Джемсону: «Берегите ее как зеницу ока и никому не от-

давайте, кроме полиции». Пролезают через пробитое Томом отверстие в старый штрек. Джемсон возвращается с лампой Гартли.

Тело Гартли на носилках вынесли наверх. Быстро собирается толпа рабочих, окружает его, шепчутся. Один, подвыпивший, кричит: «Так ему и надо!» Другой останавливает его: «Шш-ш!» Протискиваются репортеры. Они в восторге от новой сенсации. Пишется заголовок статьи: «Опять — рука Москвы: надсмотрщик Гартли убит коммунистом Т. Дрэри... Предполагаемый убийца скрылся...»

Уотсон и Тротэр находят в большой пещере распростертого на полу Тома, бросаются к нему. Тротэр прикладывает ухо к груди Тома. «Умер?» — спрашивает Уотсон. «Сейчас... — Тротэр прислушивается еще раз. — Сердце бьется... жив!» Уотсон: «Может быть, лучше бы умер...» Вливают ему что-то в рот из фляжки. Том слегка шевелится. Уотсон и Тротэр поднимают его на плечи и несут. Вдруг Уотсон останавливается: он увидел на земле лампу Тома. Тома опускают на землю, Уотсон поднимает лампу, внимательно осматривает ее, прикрепляет к поясу, потом — несут Тома дальше.

ЧАСТЬ 7

Полицейский у окна читает газету, покачивает головой.

Комната Тома. Том — в постели, возле него — доктор, сестра милосердия, Уотсон. Доктор, осмотрев больного, заявляет, что он сегодня, вероятно, придет в себя.

В другой комнате — лежит выздоравливающая Синтия, возле нее — мать. Синтия знает, что Том — здесь, рядом; но почему ей не позволяють пойти к нему? Мать — в шляпе, в перчатках — ей надо куда-то идти; она уговаривает Синтию лежать спокойно. Уходит.

В комнате, где лежит Том, Уотсон берет у полицейского газету, раскрывает. Заголовки: «Сенсационный процесс! Коммунист Т. Дрэри на предварительном следствии признан виновным в преднамеренном убийстве. До суда обвиненный будет отправлен в тюрьму — как только позволит состояние здоровья... Вчера, 22 апреля, доктор осмотрел его и заявил, что...»

Дверь приоткрывается — входит Синтия, вскрикивает: «Том!» Уотсон торопливо прячет газету, бросается к Синтии. Полицейский встает и кланяется ей. Синтия испуганно спрашивает, показывая на полицейского: «Зачем он здесь?» Уотсон уводит Синтию в соседнюю комнату и там, путаясь, объясняет, что это — по тому, старому делу: «Ведь Том был привлечен к суду после забастовки... Но сейчас к нему нельзя, нельзя!»

Том услышал крик Синтии и зашевелился, открыл глаза. Входит Уотсон.

Очнувшийся Том спрашивает его о Гартли. Уотсон отвечает неопределенно. Из дальнейших вопросов Тома Уотсон убеждается, что

Том — невиновен, что он — не убивал Гартли. Уотсон радостно обнимает Тома, Том удивлен. Полицейского он еще не видит — тот сидит у окна.

Полицейский встает, извиняясь, подходит к телефону и звонит, что Том Дрэри пришел в себя — вечером можно прислать за ним карету. Том удивленно смотрит на полицейского, на Уотсона. Тогда Уотсон рассказывает Тому, в чем дело; дает ему газету. Том поворачивается лицом к стене, лежит так несколько времени. Затем, полуприподнявшись, схватывает за руку Уотсона: «А лампы — его и моя? Они целы?» Уотсон кивает головой. Том: «Синтия знает?» Уотсон что-то объясняет Тому и прибавляет в конце: «Ты скажешь ей вечером, что... что тебя увозят в больницу». Том мрачно поворачивается лицом к стене...

Толпа народа у входа в какое-то здание; в дверях давка. Стая мальчишек с свежими номерами газет, газеты быстро расхватывают. Верхушка газеты: «Сегодня, 22 мая, начинается...»

Один из членов Соединенного комитета, у себя дома, за кофе, раскрывает газету: «Сегодня, 22 мая, начинается процесс коммуниста-убийцы Тома Дрэри. В случае, если вынесен будет смертный приговор, исполнение его...»

Он читает дальше и передает газету даме — со вздохом: «Люди — жестокие создания...» Наливает себе еще кофе, вынимает два пропуски в залу суда, один передает даме.

Зал суда. Эстрада. За столом — судья в парике и мантилье, адвокаты — тоже в мантильях. Двенадцать присяжных — направо от судьи; налево — представители печати. Том — под стражей. В зале — свидетели; среди них — Уотсон, Тротэр, Джемсон, ряд углекопов, члены Соединенного комитета. На галерее — публика, резко обособленные группы — рабочая и буржуазная.

Суд начался. На вопрос судьи — Том, вставши, отвечает: «Нет, не виновен». На галерее: реакция рабочей группы — удовлетворение, реакция буржуазной группы — возмущение.

Встает прокурор. Обращаясь к присяжным, начинает речь: «Обвиняемого перед нами, в сущности, нет...» В зале и на галереях — движение. «Настоящие обвиненные по этому делу — находятся на свободе: они — в Москве, которая организовала это преступление. Том Дрэри — агент Москвы, коммунист...»

В доме Тома. Синтия лежит — возле нее — мать, явно чем-то взволнованная. Синтия заметила, спрашивает: «Тому хуже? Да?» Мать: «Ему — ему сегодня делают операцию... Не беспокойся: два врача... самых лучших!»

Том — в зале суда, возле него — два часовых. Билл Уотсон и адвокат Пэрли взволнованно разговаривают о чем-то.

На суде идет допрос свидетелей. На эстраду медленно, неуклюже выходит толстый полицейский Стомак. Прокурор спрашивает: «Что

вы можете сказать о том, какие были отношения между обвиняемым Дрэри и убитым Гартли?» Полицейский Стомак начинает свои показания: кадры из конца 1-й части — столкновение между Томом и Гартли после заседания Соединенного комитета, угроза Тома, что он убьет Гартли...

Реакция двух групп публики в зале. Удрученные показанием полицейского Уотсон и адвокат Пэрли. Судья объявляет перерыв до следующего дня.

Вечер — на улице. Мальчишки с экстренным выпуском газет. В газетах заглавия: «Решающее показание полицейского Стомака. Завтра ожидается приговор...»

Синтия в постели, возле нее мать и Уотсон. Уотсон объясняет, что операция Тому — отложена до завтра.

Том — в одиночной камере. Он ходит из угла в угол. Перед ним мелькают лицо Синтии, две лампы — его и Гартли, Уотсон, лица углекопов...

Зал суда. Показания Уотсона, быстро проходящие отдельные кадры из 6-й части.

Уотсона допрашивает адвокат Пэрли — только об одном: о лампах. Своим вопросом он выясняет, что лампа Гартли — № 1957 — была найдена пустой, с обгоревшим фитилем, а в лампе Тома Дрэри — № 2209 — еще оставался керосин. Бесспорный вывод из этого: лампа убитого Гартли горела еще около 3 часов после того, как Том Дрэри ушел от него в старый штрек, и когда керосин догорал — Гартли выкручивал фитиль. «Как вы полагаете, мог ли это делать убитый Гартли?»

Реакция на эту реплику двух групп в публике. Прокурор — ядовито улыбается: «Где гарантия, что лампа Дрэри не была открыта его единомышленниками и туда не был перелит керосин?» Реакция в публике. Углекопы хохочут.

Адвокат Пэрли предлагает прокурору осмотреть и попытаться открыть лампу. Тщетные попытки прокурора сделать это — смеется Уотсон, смех в зале. Уотсон — старый углекоп — объясняет: лампа устроена так, что ее можно открыть только с помощью сильного магнита; без этого вскрыть лампу можно, только разбив ее. Это показывается суду экспериментально на одной из ламп: прокурор, обескураженный, садится.

Часть толпы на улице, у дверей суда. Из дверей выходит Джим Тротэр, углекопы бросаются к нему. Он говорит: «Через полчаса будет вынесен приговор».

Уотсон из суда о том же звонит домой — жене. Она, взволнованная, вешает трубку и бежит к Синтии: «Через полчаса мы будем знать... исход операции».

Торжественно выходит суд, присяжные. Том — сзади него два конвоира — встает. Встает старшина присяжных. Секретарь суда спра-

шивает его: «Вынесено решение?» Старшина: «Да, сэр». Секретарь: «Виновен ли Том Дрэри в предумышленном убийстве Джека Гартли?» Старшина: «Нет, не виновен...»

Взволнованные лица публики, аплодисменты, крики негодования, суровый окрик судьи. Он приказывает конвоирам отойти от Тома, Том спускается вниз...

Том — дома, вбегает в комнату, где лежит Синтия. Она подымается, не веря глазам: «А... операция? Чем же ты был болен?» — «Виселицей...» — отвечает Том и торопливо начинает рассказывать ей.

Входит Уотсон и тянет его к окну: к дому идет демонстрация углекопов со знаменами, с лозунгами.

Том выходит к углекопам. Ему устраивают овацию. Стоя на ступенях, он начинает говорить речь.

И.1931

СОДЕРЖАНИЕ

Автобиография 5

Мы. Роман 11

ПОВЕСТИ

Уездное 135

На куличках 178

Алатырь 237

Островитяне 264

Север 305

Ловец человек 334

Колумб 349

Наводнение 367

Бич Божий 387

РАССКАЗЫ

Один 437

Девушка 465

Апрель 475

Непутевый 481

Чрево 498

Три дня 509

Старшина 525

Студенческий сынок 529

Кряжи 530

Письменно 535

Африка 539

Правда истинная 548

Глаза 550

Верешки	
На диване	553
Зверята	553
Трамвай	553
Снег	554
Дракон	555
Землемер	557
Знамение	567
Сподручница грешных	575
Надежное место (В Задонск на богомолье)	581
Колумб	583
Австралиец	587
Икс	588
Детская	602
Мамай	609
Пещера	616
Все (<i>Отрывок из повести</i>)	623
Тулумбас	625
Слово предоставляется товарищу Чурыгину	627
Русь	634
Рассказ о самом главном	642
Куны	666
Видение	671
Мученики науки	674
Ёла	683
Десятиминутная драма	697
Часы	700
Лев	707
Встреча	711
Чудеса	
О том, как исцелен был инок Еразм	716
О чуде, происшедшем в Пепельную Среду, а также о канонике Симплиции и о докторе Войчке	725
О святом грехе Зеницы-девы слово похвальное	730

СКАЗКИ

Бог	735
Петр Петрович	737
Дьячок	738
Ангел Дормидон	740

Электричество	742
Картинки	743
Дрянь-мальчишка	744
Херувимы	745
Спящая царевна	746
Царевна-лягушка	747
Сказка об Ивановой ночи и Маргаритке	748
Большим детям сказки	
Иваны	754
Хряпало	755
Арапы	756
Халдей	757
Церковь Божия	758
Бяка и Кака	759
Четверг	759
Огненное А	760
Первая сказка про Фиту	761
Вторая сказка про Фиту	762
Третья сказка про Фиту	764
Последняя сказка про Фиту	765

ПЬЕСЫ

Огни Св. Доминика. <i>Историческая драма в четырех действиях</i>	769
Общество Почетных Звонарей. <i>Трагикомедия в четырех действиях</i>	800
Блоха. <i>Игра в четырех действиях</i>	847
Атилла. <i>Трагедия в четырех действиях</i>	886
Африканский гость. <i>Невероятное происшествие в трех часах</i>	942
История одного города	982
Рождение Ивана	1022
Пещера. <i>В двух сценах</i>	1027

КИНОСЦЕНАРИИ

Север	1041
Одиннадцать и одна	1044
Подземелье Гунтона	1048
Сибирь	1061
Д-503	1069
Стенька Разин	1073
Пиковая дама	1088

Царь в плену	1103
Вешние воды	1122
Война и мир	1126
Великая любовь Гойи	1138
Дездемона	1144
Бог танца	1150
Нос	1157
Жизнь начинается снова	1166
На дне	1176
Мазепа	1192
Чингиз-хан	1206
Добрыня	1210
Симфония Бородина	1212

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стихотворения	1215
Былины	1217
Житие блохи. <i>Шуточный рассказ, иллюстрированный</i> <i>Б.М. Кустодиевым</i>	1221
<i>Олег Михайлов. Гроссмейстер литературы</i>	1231